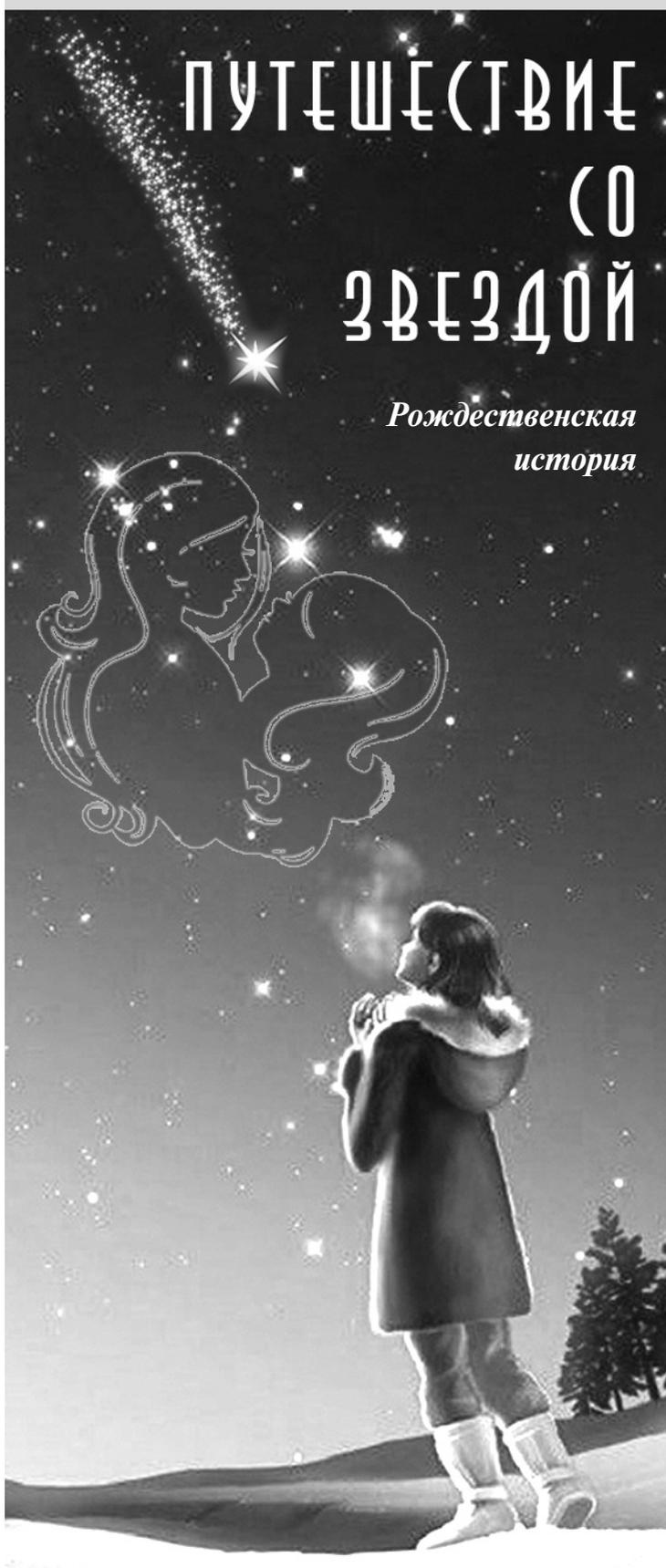


ПУТЕШЕСТВИЕ СО ЗВЕЗДОЙ

*Рождественская
история*



Анна КОЗЫРЕВА

г. Москва

— А нюша... ластонька моя, проснись! — А бабушка склонилась над кроватью, где под тяжёлым ватным одеялом, укрывшись с головой, сладко спала внучка. — Аль передумала?

Девочка из глухой норки высунула кончик острого носика и вялым, сонным голосом слабо пропищала:

— Не-а-а... пой-ду-у... — И заклубилось в выстуженном за ночь воздухе сизым дымком.

— Тады ставай! — ласково попросила баба Настя.

— Рано-о... — Сквозь наросты инея на оконницах извне напознала синяя тьма. — Вона как тёмно... — сопротивлялся сонный ребёнок.

— Мы токо квашню заведём — доспишь потом.

Выбираться в остывшую наружу из тёплого гнездовища ой как не хотелось, и Анюша, заранее вздрогнув озябшим тельцем, невольно зарылась ещё глубже под одеяло.

— Вечор-от я, дурная, вьюшку плохо прикрыла: тепло-то и ушло, — оправдываясь, корила себя баба Настя. — Всю ночь буря очумелая метелила... всё гудела за стенами... всё гудела... Може, не пойдёшь?..

Девочка порывисто выбросилась взлохмаченной головёнкой наружу:

— Не-а! Пойду! Пойду!..

— А ты ножками нырни прямо в бурки, — бабушка поспешила подставить к кровати обувку. Предупредительно добавила: — Вотаньки и платьишко, дай-ко на плечики кину...

Упрямо преодолевая страх перед остужей, Анюше удалось выпростаться из-под одеяла. Она сунула голые ножки в чёрные, сшитые мамой бурки: колкий озноб прошиб по позвоночнику от пяток до мозжечка — бурочное стёганое нутро оказалось стойко холодным.

— Стылые никак?.. — пожалев внучку, бабушка поспешила успокоить: — Сичас разойдешьса... согреешьса... я печку растопила: тепло скоро набежит...

И то верно: в избе становилось теплее — живой печной дух ширился и густел, проникая во все углы небольшого жилища.

Вскоре они дружно суетились у кухонного стола.

Впервые в своей маленькой жизни Анюша замешивала тесто. Почти самостоятельно. Бабушка лишь указывала, что и как делать, и девочка, старательно осваивая нелёгкую поварскую науку, шаг за шагом продвигалась в той науке вперёд.

Вот развела опару. Замесила тесто. Тяжёлыми, нещадно покорёженными подагрой руками старуха попыталась помочь ребёнку, но узловатые пальцы предательски не гнулись, и ей оставалось лишь коряво подсыпать сквозь решето муку. Вдруг скомандовала:

— Стой-ка! Бить пора!

Анюша, давно с нетерпением ожидавшая этого мига, осторожно взяла обеими руками вязкий живой ком, подняла его высоко вверх и со всего размаху, как это всегда делает мама, бросила тесто на стол.

И так раз за разом... раз за разом... ещё и ещё раз за разом... А тесто, с глухим шлепком ударяясь о столешницу и всякий раз вздрагивая, тихо постанывало от внутреннего напряжения.

В этом забавном и похожем на игру действии, до конца девочкой так и не понятом, угадывалось нечто особенное и мистическое. Вскоре бабушка, всё это время беззвучно шептавшая молитву, ткнула прямым пальцем в мягкую мучную плоть и радостно объявила:

— Задышало!

И вот таким дышащим, обретшим упругость и эластичность тесто легло на дно широкой деревянной дежи, давно стоявшей в ожидании на табуретке.

Баба Настя размашисто перекрестила посудину с тестом и, прикрыв чистой тряпицей, подтянула табурет вплотную к печному набирающему жар-тепло боку.

— Тутонько наша квашонка и дозреет, а ты, Анюшенька, иди досыпай...

Побелело на улице низкое небо, высветилась округа, и сквозь мохнатую куржавень узорчатой наледи оконных стёкол в избу про-

бился утренний синь-свет поздних, слабо рассеивающихся сумерек.

Посветлело, расширилось и в жилище, когда бабушка окончательно подняла любимую внучку.

— Умойся скорей-ко, да станем тесто разделять. Квашня, гли-ко, как ба не утянулась за порог погулять.

Ещё с вечера решено было на гостинцы испечь шаньги. Накануне заготовили картофельное аппетитно сдобренное маслом и яйцами пюре для намазки поверху.

И вновь в свои неполных десять лет Анюша проворно справилась с ролью расторопной хозяйки. Бабушка потыкалась-потыкалась прямыми окостенелыми пальцами в упругую мягкую плоть хорошо подошедшего теста — и, окончательно смирившись со своей немощью, подытожив горестно: «Худая из меня нонче помощница...» — присела сбоку стола.

У девочки, на удивление, всё получалось споро и умело. Не испугало её жарким зевом и широкое печное устье, куда она, гордая собой, осторожно впихнула на деревянной лопате железный противень. Было тяжело, даже очень, но Анюша ловко справилась, как справилась и потом, когда с помощью всё той же лопаты сумела вытянуть из пышущего вольным жаром нутра подрумяненные и яркие, как летние подсолнушки, шанежки.

Следом Анюша спровадила в печь второй противень.

Открыто любовалась внучкой баба Настя.

— Кака ж ты, Анюшенька, сноровиста! Мамке будешь помощница хорошая... — По дряблой щёчке её слабым ручейком бежала мутная слёзка: смахнув её, она аккуратно завернула свежее испечённое в плотную тряпицу и поспешила упрятать в холщовую сумочку: — Это у нас гостинцы...

Громыхнув заслонкой, бабушка заглянула в печь. Глубоко втянула горячий воздух носом:

— Анюша, вымай шаньги-то! Чую, подгорят! Ишь как уголья зашаили... Сама-то токо не опались!..

Вот и второй противень готов. Новые шанежки-подсолнушки выложили на широкое алюминиевое блюдо.

Кисловатый запах дрожжевого теста, с утра бивший в нос, давно исчез, а избу, проникая

во все углы и щели, наполнил ествяный хлебный дух. Душистый жар-теплота сладко дурманил сознание и перехватывал дыхание.

Осчастливленная поварским успехом Анюша села к столу и, сглатывая скорую слюнку, приготовилась надкусить пышную мякоть, однако желанный кус попридержала — позвала:

— Бабуль, а ты?

— Кушай-кушай, детонька! Наедайся! Тебе покушать сытно надо: путь-от неближний... А я попозже... Сёдня как-никак сочевник. Ждать буду первой звезды — и посочевничаю тады коливом. А завтра уж и Рождество сретим...

Только тут девочка догадалась, для чего бабушка тщательно мыла пшеничные зёрна и, насыпав их в чугунок, залила водой с мёдом. Ту маленькую посудинку — «томиться», как сказала бабушка, — в печь тоже ставила Анюша. Вначале она, по подсказке, кучкой сбила алобокие угольки в глубине печи и ухватом в самый центр жаркого костерка установила тот чугунок.

И вот теперь, отложив аппетитную шаньгу, Анюша категорично объявила:

— Я тоже буду первую звезду ждать!

— Да как же можно, ластонька моя?! — бабушка, искренне испугавшись столь скорого решения, всплеснула руками. — Нет-нет!.. Тебе ж в путь-дорожку!.. Покушай-покушай!.. сытно покушай!..

Однако Анюша, как ни щекотал зазывно горло сытный хлебный дух, оказалась непреклонной. Уж если быть взрослой, решила, то до конца!

А бабушка, смирившись вдруг, отступилась, перестала настаивать. Затем беззвучно прошептала себе под нос что-то своё и, разжав корявенький кулачок, сказала:

— Дай-ко вздену!

В бабушкиной ладони лежал маленький оловянный крестик, который всегда хранился в сундуке. Анюша знала, что это её крестильный крестик. Иногда даже брала его в руки. Рассматривала, но носить никогда не носила. Лишь однажды, как вспомнилось, когда они с мамой поехали в Курью, где жила её крёстная и где церковь, куда им было наказано зайти, то бабушка надела крестик внучке, а когда вернулись, сама же и сняла его. И вот сейчас баба Настя вновь накинула на Анюшу розовый гайтан.

— Вот тебе крест-креститель... на шейку... В дороге, деточка, без ево никак... И не сопротивляйся!..

Девочка и не сопротивлялась. Ей стало даже как-то очень хорошо. Она быстро-быстро собралась. Не забыла и школьный дневник положить в сумочку — маму порадовать отметками.

Бабушка тщательно проверила внучку: тепло ли оделась. И, проверив оценивающе, поспешила накрутить поверх зимнего пальтеца и самшитого, подбитого ватином капора с атласной подкладкой большую серую шаль. Анюша недовольно завертела головой, но бабушка со словами:

— На улице вона как знойко!.. Тёпло-то, девка, и вошка любит! — крепким узлом перетянула концы шали на спине. Объяснила: — Жар-от костей не ломит! Как-никак по зиме и скрута ладится... — осмотрела ещё раз зорко: — Кака ж ты у меня баскулька! — Следом набросила на внучку холщовую сумочку с дневником и гостинцами для больной дочери. — Торбочка легкая — плечиков не натянет. Добегишь, ножки молоденькие, бойкие... Я девчонкой, бывалоча, и не на таки расстоянья обыденкой оборачивалась. Засветло урядишься, думаю... Туда ить не шибко и далёко... Токо Каму перейти, а за Гамами дорога торная, наезженная... Скоро добегишь... Мамку спроведашь. Узнашь, чё да как, — и обратно... — старуха горестно вздохнула: — Ох и изболелось же серче за Дусю... Разве ж я тебя, деточка, будь в силах, в таку-то дорожку ба снарядила?..

Анюша перебила:

— Не ты! Не ты!.. Это я сама! Сама!..

— Сама... сама... — согласилась бабушка. И, глубоко вздохнув, продолжила: — Да и чё тама задерживаться?.. Повидалась с мамкой — и домой... До сутеми и вернёшься... може...

Глянула внимательно в окошко, разукрашенное морозом диковинными перьями.

— Замешкались мы с тобой... Сонче уж на полодень сворачиват! Но ничё-ничё: по солнупутку скоро пробегишь...

И бабушка, старательно прекрестив снаряженную основательно в дальний путь девочку, подтолкнула её к двери. У порога, попридержав, осторожно добавила:

– Ты, Анюшенька, токо дорогой-то ничё не бойся... и никого не бойся... А чё и бояться-то? Бежи и бежи себе с Боушком в душе!..

Чувство радости, народившееся ранним утром, продолжало волновать и переполнять трепетным восторгом душу ребёнка. Не ветрилось оно и с первым знобко ударившим в разгорячённое лицо рывком острого морозного воздуха, когда выходила из дома, увязнувшего в снежных завалах.

Анюша, невольно зажмурившись, задержалась на низком крыльце: резко-белый, лучистый искрящийся под прямыми солнечными лучами снег, каждая снежинка которого играла светом, ослепив, брызнул в глаза; и ударил в нос тонкий запах свежей пороши.

Через секунду-другую, пообвыкнув, девочка широко раскрыла глаза: мир, сказочно обновлённый за метельную ночь, предстал перед изумлённым взором.

Последние дни стояли мягкие, снежные. Вот и вчерашним днём к вечеру мелко-мелко сыпануло с огрузших высот, и всю длинную ночь пела-кружила над затаившейся землёй визгливая выюга-пурга.

Обильно запорошенная свежим чистым снегом, пробудилась округа в обновлённых пышных нарядах. Дома, по окна затаившись в рыхлых сугробах, сплошь стояли в крутобоких шапках-шоломах с кисточками белёсого дыма, устремившегося ввысь из печных утопших в снегу труб.

Кружил, метался поверх крыш слабый ветерок и, взбивая седыми вихрами, гнал вниз широкими струями снег-порошу. И белым-бела даль поокруг. Тихо-тихо. И немо до глухоты...

Вдруг радостное «дзень-чивырк» резко оборвало тишину – то лимонногрудая синичка вспорхнула в пушистой кроне черёмухи, утонувшей в сугробах палисада, где широкие кусты держали толстый снежный полог. Яркая птаха, перелетая с ветки на ветку, сбивала опавшее вниз белое пух-перо, вспыхивающее на солнце алмазной пылью. И всё звонче, и всё веселее звучало синичкино теньканье. А над самым домом в голубом отливающим дым-серебром небе зависло солнце с правильным крестом морозных столбов.

Анюша выдохнула и спрыгнула с крыльца. Ступила на припорошенную дорожку, шагнула раз-другой: под валенками хрустко скрипнуло – и побежала вперёд.

Весело похрустывая снежком, быстро пробежала девочка короткую, в пять дворов, улицу и вышла за околицу, откуда хорошо была видна Кама. Рукой подать!

Летом это расстояние преодолевалось вмиг, но сейчас ломиться напролом по заснеженной, сияющей на солнце девственной белизной целине девочка благоразумно не решилась. Она шла по утопанному краю вдоль овражка, надеясь скоро выйти на тропу, ведущую к Чиркам, – деревне, длинным порядком вытянувшейся вдоль реки.

Скоро Анюша вышла к месту, где бы той тропинке начинаться, однако заснеженное пространство сколь охватывал взгляд плоско простиралось белой гладью без видимых следов человека: лишь переливчато играли голубыми тенями снежные холмушки да кружились в воздухе мириады мельчайших игл и блёстких морозных остинков. Вблизи же всё дыбилося громадьём снежных завалов. И здесь тоже было тихо-тихо.

Остановилась. Зашмыгала было в растерянности носом и тут увидела её: тропинка затаилась узкой канавкой совсем-совсем рядом – по первопутку, верно находя старые следы, кто-то недавно прошёл.

Девочка ступила на тропинку и, через шаг-другой утопая в вязком снегу, побрела через поле, распластавшееся в немом безмолвии.

Вскоре позади услышала залиvistый, всколыхнувший глухую немоту лай – оглянулась: её быстро догнали двое шагнувших след в след мужчин.

– Эй, Филипок, посторонись! – хрипчатый голос весело прозвучал вблизи.

Не успела девочка возмутиться на озорное «Филипок», как сильные руки подхватили и высоко подняли её. Весёлый дядька, на весу передав ребёнка товарищу, широким махом устремился вперёд.

Точно так же, на руках, и второй перенёс Анюшу. Опустил позади себя:

– Нос-то не отморозишь?! – и, не дожидаясь ответа, поспешил вдогон.

Следом вьюном вилась мохнатая собачонка. Обнаружив, что хозяйева стремительно исчезают, псинка нервно взвизгивала и бестолково тыкалась в Анюшины пятки. Девочка поспешила отступить в снег: пегенькая собачка протиснулась по узкой колее у ног и молнией бросилась вперёд.

Идти по тропинке-канавке стало намного легче, и Анюша ускорила шаг, однако поле в чешуйчатых волнах задулин всё не уменьшалось и не уменьшалось. Размашисто тянулась снежная стлань, где у самого дальнего края длинным лучом зацепилось холодное солнце за вспыхивающие искристо снега да сквозной ветер гнал от Камы по зыбистому покрову дымом закручивающуюся позёмку.

И больно-больно стегало сухим снегом в лицо.

Увиделась наконец река: застывшая в глубоком обморочном сне подо льдом, предстала она широкой заснеженной панорамой, увязнувшей в бескрайних выстуженных высях и весах, с рваными облаками по краям видимого окоёма, с упругим, напористо скользящим по-над скованной водой ветром.

Тропинка, по которой дошла Анюша, ручейком ускользя вниз, вливалась в узкий раскатанный санный путь. Зорко оглядывая открывшийся взору выбеленный в блеске замороженной дали простор, девочка остановилась. Она видела, что, пересекая стылое пространство, обогнавшие её люди промаячили тёмными силуэтами далеко впереди и скоро совсем исчезли с глаз. Следом и собачонка, мелькнувшая серым клубочком, растворилась у дымящегося холодом противоположного берега, где в седых куделях над белыми крышами в правильной параллели Чиркам виднелись в серебре Гамы¹. А в дали дальней, где река, круто изогнувшись, исчезала за поворотом, скрытым заснеженной прибрежной урёмой, в излучине, на фоне взлохмаченного ветром горизонта, чернел в морозной мгле Краснокамск. И где-то там, в недостижимом взглядом низовье, на супротивной стороне городку, что дыбился дымами высоких труб и где мастодонтом нависал над Камой серыми корпусами бумкомбинат, и была та самая Усть-Качка, куда шла девочка.

Только минуто-другую постояла Анюша в

нерешительности на заснеженном взгорышке и, сбежав вниз, смело ступила на прибрежную ледяную закраину.

Издали широкое речное пространство обманчиво казалось ровным и гладким, однако уже вблизи обнаружилось, что льдины и под толстым слоем снега топорщатся каменистыми, глыбистыми выступами и что в редких проплешинах, нагих от размётанного ветрами ветро-покрова, тускло блестит корявый лёд.

И вольно, вздымая воскрылья широких одежд, кружил по-над рекой разухабистый ветр-снеговой, щедро расшвыривая пригоршнями колкую снег-порошу и обнажая стылую кокору старых ребристых сугробов.

Чем глубже по реке уходила девочка, тем злее и резче становились свистящие звуки лихого снеговоя, а на самой середине, где рывками поднималась метельная метель, ещё более и более утробно гудело и хищно завывало. Здесь бил в лицо шквальный игольчатый сиверик, до рези слепя глаза и обжигая щёки острым морозцем.

Девочка упрямо шла вперёд. Она видела: ещё немного, и, преодолев всё, достигнет желаемого берега, чётко обозначившегося оснеженным крутояром.

И вот Анюша дошла!

Взобралась на высокий берег и, облегчённо выдохнув, оглянулась: более чем в полутора километрах оставался родной, растворившийся в искристой мути берег, а цепляющийся за полы пальто мятущийся ветер, оставив вдруг свои хитрые выкрутасы на потом, утих и, взмахнув снежным крылом, развернулся и умчался восвояси.

Осторожно, с опаской осматриваясь округ, шагала девочка по широкой, незнакомой улице Гамов, обдуваемых сквозными ветрами с реки. Порхал в воздухе лёгкий снег, пригоршнями летающий с крыш. Случалось, перебреживались лениво меж собой тутошние собаки, отлёживающиеся в глухих, как лесные норы, конурах на закрытых наглухо дворах.

Безлюдно. Если кто и встречался изредка, то Анюша по общей деревенской обычке бросала

¹ Чирки и Гамы – деревни в Пермском крае.

своё «здрасьте». Ей так же привычно кивали в ответ и, провожая любопытным взглядом с нескрываемым интересом: это кто ж такая и откуда в такую непогоду? — смотрели вслед, а девочка, щёки которой жарко пылали алым румянцем, ходко вышагивала вперёд, невольно вслушиваясь в напевный хрусткоток подшитых чёрной драпвой катанок.

Дошла до края длинной улицы. Остался позади и последний дом, одно из прясел палисада которого низко накренилось под тяжестью снежного полога.

Анюша, вприскок пробежав мимо, оказалась за околицей. Здесь, минуя стороной Камы, тянулась торная дорога. Дорога убежала далеко вперёд, где упиралась в высокие, в метельных дымах чернеющий лес.

Усатое зимнее солнце, подобрав длинные полуденные лучи и откатившись к западу, остановилось в раздумье и зависло над зыбистым плоским полем, распластавшимся белым полотном вокруг большого села. Поменяло свой прежний окрас и небо: из голубого превратилось в мертвенно-бледное со слоем изломистых седых облаков.

Вокруг было пусто и немо.

Девочка ступила на твёрдое, разъезженное полотно и единственно движущейся маленькой точкой смело зашагала по пустынной, в лёгких шлейфах низкой суземе дороге.

Пока Анюша шла, защищённая, как высоким забором, деревней от Камы, крутовёртки ветра не досаждали буйством, пробуя свою лихую силу на расстоянии, где густела синяя даль. Но только она вышла в чистое бугристое поле, как упругие хлёсткие ветра-разбойнички показали лихую удачу. Сбиваясь в яром споре и меряясь вихревым напором, носились они по вольному простору, поднимая снежные паруса, оголяя ноздреватую настынь и озорно сбивая с ног.

Вскинулась Анюша быстрым взором на закамскую сторону, где далеко-далеко остался смутный берег, где дом, где тепло, где бабушка... А здесь дули-выдували стылую песнь свистящие ветры; и тянулось-тянулось бесконечно в снежной завали и холодном сивом дыму открытое вьюжное поле, на живульку прошитое частыми стёжками путаных заячьих следов.

Девочка поспешила отвести глаза и даже ускорила шаг, чтобы спасительно укрыться там, где темнеющий лес широко расступался и где дорога, пообочь которой высились глубокие синие сугробы, втягивалась в длинный-длинный туннель.

Анюша давно отметила про себя, что вот добежит до той еле-еле заметной вешки, потом — до следующей и еще раз до следующей, а там, за мохнатой можжевельной свечой, одиноко белеющей на выступке, и низкорослый мелкий лес-слежник виден.

— Тпр-ру! — за спиной раздалось громко и зычно.

От неожиданности девочка вздрогнула. Оглянулась. По дороге прямо на неё в свистящих полосах снега неслась конная повозка. Лошадь от вожжей, натянутых с силой, высоко вверх задрала рыжую морду с низко болтающимися ременными гужиками и в клубах сизого пара лупилась на неё большим кривым глазом.

Анюша отбежала к обочине.

— Тпр-ру! — резкая команда повторилась, но полозья продолжали жёстко скрипеть: упрямая лошадь протянула еще немного широкие обшивни, в середине которых в огромном чёрном тулупе сидел мохнатый кучер. — Тпр-ру! Стой же, Любка! Стой!

Та нехотя остановилась и, опустив голову, с любопытством уставилась на Анюшу уже обеими глазами, а старик, обратившись к перепуганному ребёнку, участливо спросил:

— Не замёрзла?

— Не-а... — Анюша энергично замотала в ответ укутанной, в россыпи мохнатого инея головой.

— Садись давай! — рукояткой кнутовища указав на место рядом с собой, пригласил незнакомец.

Девочка уговаривать себя не заставила: шустро влезла в сани и уселась на слегка припорошённое снежком сено.

— Полстинку подоткни, — старик вытянул из-под себя большой кусок ветхого сукна. Протянул: — И ноги укрой! Но-о! Пря!.. пря!.. Пошла, Любка!.. Пошла!..

Соловая лошадка взмахнула светлым хвостом, озорно встряхнула светлой гривой и мед-

ленно, осторожной ступью шаг за шагом потянула потяжелевший на малёк возок.

— Ишь, нравная какая! — кучер, перебирая в руках толстые верёвочные вожжи, хлёстко ударил ими по жёлтым бокам. — И дуй! Не стой! Но! но-о!.. Пря-пря!.. пря!.. пря!..

Любка ещё прошлась степенной ступью и затем только весело дёрнула сани и, поигрывая высокой шеей и неся хвост на отлёте, легкой грунью побегала вперёд по трусской дороге: зашуршала, заметалась под скользкими полозьями сухая дым-позёмка, что, взлетая, заметала порошей свежие конские глызки.

Обустроившись уютно под боком старика и пестуя в обомлевшей душе радость, Анюша оглядела оставленную, как мыслилось, далеко позади округу, и обомлела: Гамы, утопая в беспредельных снегах, всё ещё были совсем-совсем рядом. Растерянным взглядом упёрлась в крайний дом, где отчётливо просматривались заиндевелые окна...

— И куда ж это наша юница шагает? — одёрнул вопросом кучер.

— В Усть-Качку... — оторопев от столь незнакомого слова, Анюша прошептала еле слышно.

— В Усть-Качку?! Эка-а!.. — присвистнул мохнатый дед: борода и усы в седом инее. — Домой, что ли?

— Не-а... не домой...

— Неужто в гости?! — Девочка лишь улыбнулась в ответ. — И, наверно, с пирожками!

— С шанежками! — Анюша весело уточнила.

— Ух ты! С шанежками! К бабушке, знать?!

Только вот не вижу, где у нас красная шапочка? — дед тоже повеселел.

— Не-а... не к бабушке... — и девочка очень старательно произнесла малопонятное ей слово: — На курорт...

— На ку-у-ро-о-рт?! Она как! — Старик снова удивленно присвистнул. — Интересно, к кому ж это ты на курорт идёшь, да ещё с шанежками?

— К мамочке...

— К мамочке?! Ну-у... понятно... Что ж, самое время на курортах отдыхать-загорать.

— Она тама не загорает! — искренне возмутилась попутчица. — Она тама лечится!

— Лечится, говоришь? — переспросил, уточняя: — Легкие, что ль, у неё болят?

— Не-а! Bronхи! — девочка испугалась, что мохнатый кучер решит, что её мама — чахоточная и что она, Анюша, тоже чахоточная, и сразу же высадит из саней. От страха громко застучало сердце, и она категорично повторила: — У неё только bronхи болят!

— Да-а... и bronхи тоже у людей болят... — дед тяжело вздохнул. Добавил: — На этом курорте хорошо лечат... Всё, правда, больше шахтёров лечат... Вылечат и твою мамочку.

Последним словам Анюша обрадовалась несказанно.

Болезнь мама стала с ранней осени. Всё кашляла и кашляла, часто задыхаясь от надрывного, рвущего нутро кашля. И кто-то сказал про неё, что она чахоточная и что работать с детьми ей нельзя. И маме пришлось уйти из школьного буфета. Скоро её положили в больницу, где мама пролежала долго-долго, а потом выписали и сказали, что нет у неё никакого туберкулёза, и даже дали путёвку на курорт.

Анюша и сейчас с большим трудом представляла себе, что это такое — курорт. Самое главное, что уяснилось ею сейчас, что маму точно вылечат на этом самом курорте: вот и дед сказал: «вылечат твою мамочку».

Однако ничего этого она рассказывать добродушному старику не стала, а тот всё продолжал и продолжал свои расспросы:

— Ждёт, значит, мама свою дочурку?

— Не-а...

— Как так? — изумился. — Наобум, что ль, собралась? Откуда и идешь?

— Из Оверят.

— Это из-за Камы, что ль?!

— Ага!

— Одна?! И через Каму — одна?!

— Одна! — Анюша, весьма довольная собой, согласно кивнула. Поспешила объяснить: — Баба Настя и по дому-то плохо ходит. Ей не дойти... У неё ножки болят...

— Да-а... уж коли невмочь да коли ножки болят, далеко не уйдёшь, — согласился Анюшин собеседник и, вздохнув глубоко, покряхтел-покряхтел и вдруг продолжил с нескрываемым возмущением: — И всё одно сбрендилась твоя бабка на старости лет совсем! Это ж надо девчонку одну отпустить, а?! И путь неблизкий... стужа такая...

Анюша, хотя и было зябко, вспыхнула жа-

ром. Насупилась от обиды. Недовольно зашвыркала носом, и дед уже не казался добрым: вон как ноздреватая кожа на носу покраснела... как у пьяницы...

— Обиделась никак? — старик низко склонился в её сторону. Заглянул в лицо. — Да ты не дуйся! Не дуйся! Доедем! Любка скоро добежит. Она хоть и нравная дама, но бойкая. Пря!.. пря-пря!.. — Кучер, размахивая на весу коротким кнутом, с оттягом ударил вожжами по выпуклым бокам лошади и гаркнул зычно: — Но-о!.. но... но!.. К мамочке никак едем! — И неожиданно с весёлой хрипотцой в голосе пропел: — «Едем, едем, едем к ней! Едем к любушке моей!» Э-э-эй! Э-эх! Притопа, голубушка!.. притопа!..

Прянула лошадь и, выгнув шею дугой, с лёгкостью ускорила рысистый бег. Летела враскачку, на полный мах. И ещё звонче и звонче заскрипели по укатанному полотну скользкие полозья.

Легко подпрыгивали глухо обшитые посеребрившим от древности лубком ладные сани с ездоками, а шалый ветр-снеговой, ухарски высвистывая морозную залихватскую песнь и рассыпая хрусткой крупной снег, припустил наперегонки.

Стремительно промелькнуло ближним окраем утонувшее в белом безмолвии с дымящейся суземью по простору поле. Кончилось.

Миновали и опушённый как седым мхом низкорослый, в широких засыпанных порошей промежах лес-слежник в тонких замороженных хлыстах, не набравших ещё силу молодых деревьев. Поднимаясь в могучий рост, сплошной стеной со снеговой нависью на ветвях приближался дремучий ельник.

Улетучилась мимолётная обида: Анюша, которую блаженно укачивало в санях, попыталась оправдать свою бабушку.

— Мамочка сулилась писать, — тихо начала она, — а ни одного письма разу не пришло... Баба Настя очень переживает за свою доченьку... Она ж у неё одна... Бабуля всё плакала и плакала, что сил нет сходить больную спроведать... А я и придумала: на каникулах сбежать и всё про мамочку узнать! Я же обещала!

— Ну-у... раз обещала... — опять старик глабоко вздохнул.

— А сулёное всегда надо выполнять! — распаялась девочка.

— Так-то оно так!.. — согласился дед. — Это уж точно: дал посул — исполняй! Обещанное слово держать надо. — Поинтересовался через долгую паузу: — А звать-то тебя, дитё, как?

— Анюшей, — поспешила вежливо ответить. Ей всё больше и больше нравился этот забавный дед.

— Анюшей? — тот, хмыкнув, переспросил. — Это, выходит, ты у нас Анной будешь? Это, наверно, про тебя сказано: «Хороша дочь Аннушка, коли хвалит мать да бабушка». Не так ли? — Девочка довольно улыбнулась. — Ну, пускай Анюша так Анюша... Мне даже нравится! — И умолк. И долго-долго молчал. Потом с печальной нотой в голосе негромко продолжил: — Жену мою любимую тоже Анной звали... Анной Савельевной... Я её всё Аннушкой звал...

— И у меня бабуля Савельевна... Анастасья Савельевна, — радостно сообщила девочка. И неожиданно для себя самой добавила: — Баба Настя, когда я на улицу выходила, сказала: «Иди, Анюша, себе с Боушком! Иди и ничего не бойся! И никого не бойся!» Вот я и иду! — и голосисто поправила себя: — Еду!

Старик развернулся к ней всем тяжёлым корпусом:

— Так-то оно и есть! Иди и иди себе по жизни с Богом в душе!.. Тут твоя Анастасья Савельевна права: чего и бояться, когда Господь рядом?

В длинный коридор, пробитый сквозь высокий замороженный лес, втянула лошадь под мерный скрип полозьев лёгкий возок.

Парадным строем вдоль трассы стояли могучие густоветвистые ели — все сплошь в пушистых снеговых куделях.

И морозное солнце, зависнув в небесном створе зимней дороги, сливало вниз холодную желчь.

— А как вас зовут? — в свою очередь полюбопытствовала Анюша.

— Меня-то? — переспросил кучер, а потом ответил как-то чудно: — Зовут меня давно Никто... как по фамилии Никто...

Девочка вскинулась на него испуганным взглядом:

– Как это?
– Шучу... шучу... Величают меня с рождения Петром. По родному отцу буду я Алексеевич... Для тебя просто дядя Петя... Вот и познакомились... – умолк, но через некоторое время спросил: – Так ты у своей мамы тоже одна дочка будешь?

– Я? Не-а... Коля ещё есть. Он в армии служит. В Орше.

– В Орше, говоришь? Да-а... есть такой городок в Белоруссии... есть... есть и такой...

– А вы там были, да? – девочка верно уловила в интонациях дяди Пети что-то особенное.

Тот ответил не сразу:

– Я, деточка, уж давно не помню, где бывал... когда бывал... – и, помолчав, продолжил с той же грустинкой в голосе: – С кем бывал... – вновь помолчал, а потом, встрепенувшись, зычно выкрикнул: – Пря!.. пря-пря!.. Любка, что застряла?! – и заиграл тяжёлыми вожжами по бокам заметно сбавившей ход лошади. – Не шали! Ишь, уши развесила! Пря!.. пря-пря!..

Любка, вытанувшись далеко вперед длинной, в оплетье сбруи и ореоле морозного пара мордой, послушно побежала по дороге лёгкой и быстрой рысцой.

– Значит, говоришь, служит братишка? – дядя Петя вновь обернулся к ней. – Это хорошо. Пускай послужит. Парню это лишним не будет... Парню это только на пользу... Давно служит?

– Осенью придёт!

– А ты, получается, у мамы поздненькая? – продолжал расспросы кучер.

– Ага! – отозвалась с весёлым азартом. – Мама меня поскрёбышем зовёт!

– Во как! Поскрёбыш?! Ну и ну!.. И всё-то ты, гляжу, знаешь, – засмеялся добродушно. Поинтересовался: – И на уроках в школе такая же бойкая?

– Бойкая! – искренне согласилась Анюша. Похвасталась: – Я хорошо учусь. Пятёрок много! Я маме дневник везу. Вот!

– Ну что тут скажешь? Только молодец! – девочка радостно зарделась. – Пионерка, поди?

– Не-а... октябрёнка... – поспешила уточнить: – Скоро вот будет десять, и тогда меня примут в пионеры!

– Торжественно, небось?

– Да! На пионерской линейке! На день рождения дедушки Ленина.

– Понятно... А сейчас, значит, со значком на груди ходишь? – скользнул хитрым взглядом. – С дедушкой Лениным?

И вот тут Анюша растерялась, не зная, что ей сказать в ответ. Значка на груди у неё сейчас вовсе не было. К тому же октябрятская звездочка у неё давно была без дедушки Ленина. Маленькая фоточка круглолицего мальчика в венчике кудряшек вокруг головки выпала из серединки красного значка и пропала. Как сквозь землю провалилась. Анюша искала её, искала. Весь пол на коленках облазила, но так и не нашла, а новую пятиконечную звёздочку без мамы ещё не купили...

Девочке стыдно было сознаться во всём, и тогда она просто сказала:

– Он на фартучке висит...

– Кто? – удивился дядя Петя, ровно нарочь забыв про свой недавний вопрос.

– Дак дедушка же Ленин... – начала было Анюша, но быстро поняла свою оплошность и, отмеривая слова, сбивчиво продолжила: – Ой же!.. Ой!.. не дедушка Ленин висит вовсе, а звёздочка октябрятская висит на фартучке...

– Ну-да... ну-да... на фартучке висит, – принял объяснения дед и вполголоса куда-то себе под нос осторожно пробурчал: – Там-то ему и место... Но-о! Любка! Но-о!.. Не сбавляй хода! Не сбавляй! Пря!.. пря-пря!.. Хорошо бежишь!.. Хорошо, моя красавица! Пря!.. пря-пря!.. – выкрикнул зычно дядя Петя, а усы и борода при этом забавно вздрагивали слабо искрящимися бисеринками инея.

Катились санки легко по длинному коридору, широкой просекой прорубленному сквозь вековой плотный лес.

Заворожённо-молчаливой непроглядной стеной стояли мощные и грозные ели, щедро осыпанные снегами старыми и снегами новыми. Белыми высокими пирамидами в немой задумчивости стояли деревья вдоль сквозной пустынной трассы. Кажется, и ворон-каркун, древний житель глухих мест, снежным ли катышем примерз меж чёрных хвойных лап, затаился ли где в непроходимых стылых дебрях. Тихо, и лишь вольный ветр-ветрище, кому всё

нипочем, кружил-бесновался в выси, сбивая с наверхший густую пыль-порошу.

Чутко и трепетно отзывалась детская изомлевшая от быстрой езды душа на окружающий мир. С трудом улавливая смену мелькающих мимоездом картин, уплывала и уплывала в своих видениях девочка куда-то в неведомое, далёкое...

— На! — сняв с руки толстую рукавицу и порывшись где-то в глубинах огромного тулупа, дядя Петя протянул Анюше в ярком фантике конфету.

А та, мысли которой давно путались и обрывались, вздрогнула от неожиданности. Отпрянула и, не вникнув до конца, вскинулась на деда непонимающе.

— Спрашиваю: конфетку хочешь? — повторил дядя Петя. — Держи!

Руки девочка не протянула. Лишь излишне торопливо промычала в ответ:

— Не-а... — и тут же демонстративно отвернулась, старательно выглядывая округу.

— Не любишь, что ли? — удивился старик.

— Люблю... — и быстро-быстро зашмыгала носом.

— Так на же, бери! Стесняешься, что ли? Не стесняйся!.. Бери!.. бери!.. Конфета вкусная... шоколадная... «Кара-кум» называется... — Жёлто-кремовый фантик с силуэтом верблюда заманчиво лежал на широкой оголённой ладони.

— Не-а... — промычав своё обычное, Анюша грустным шепотком добавила: — И вовсе не стесняюсь... только нельзя мне...

— Это почему же? Не по болезни ли какой? — в голосе старика появилась участливая тревога.

— Не больная я!.. — испуганно выкрикнула девочка. — Просто нельзя! До первой звезды ничего кушать нельзя!..

— Глико, до первой звезды?! — кучер присвистнул от удивления. — И почему именно так — до первой звезды? — окинул быстрым взором голубое, в бледной лучезарности низкое небо. — Да-а... не видать ещё...

Вдумчиво замер, однако скоро, с прищуром глянув на юную спутницу, хитро поинтересовался:

— Так почему же нельзя именно до первой звезды?

— Потому что Рождество Христово потом будет! — сообщила Анюша.

— Рождество, говоришь? Христово, говоришь? — переспросил.

— Да! А сёдня сочевник, — и Анюша со всей детской непосредственностью поспешила объяснить ему: вот ведь какой старый, а не знает! — Бабуля не ест до первой звезды, и я не буду!

— Вона оно как! Ну и ну... Только вот я, грешный, про сочевник мало что понимаю...

— Это когда коливо есть надо! — быстро перебила его Анюша. — Зёрнышки такие с мёдом... Их ещё в печке томят...

— Да-да... и коливо есть надо... Да-да... лучше из зёрнышек... и с мёдом лучше... можно и изюмчику добавить... Это, между прочим, вам, местным, сочевник знаком, а мне всё как-то привычнее — сочельник, — по-доброму широко-широко улыбнулся. — Впрочем, это уж совсем пустое, так сказать. Не так ли, душа-девица?! Главное: суть одна, — и он неожиданно густым голосом негромко, но красиво и строго запел: — Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!.. — а следом, усилив голос, пропел торжественно новое: — Яко с нами Бог! Разумейте языцы и покоряйтесь: яко с нами Бог! — когда умолк, спросил: — Знакомо?

— Не-а... — растерянно покачала укутанной головой девочка; маленькое, не уразумевшее подлинного смысла всего сказанного до конца сердце её встрепенулось и обомлело.

— Ну... ну... — очень тихо прошептал дядя Петя себе под нос.

Хотя короткие те слова запутались в оледенелой бороде, Анюша сумела чутко уловить в них явный оттенок горечи; и девочка, давно ощутившая мягкое тепло невесомого крестика на груди, внезапно радостно сообщила:

— А я с крестиком!

— С чем-чем?! — заинтересованно переспросил дядя Петя.

— С крестиком... — осекшись, повторила она с лёгким испугом. Даже невольно попыталась оправдаться: — Мне его бабуля одела... перед самым выходом одела... у порога...

— С крестиком, говоришь? Это ж просто замечательно!.. просто отлично!.. — доброжела-

тельно воскликнул старик. Продолжил вопросом к самому себе: — Это ж какую Господь мне спутницу послал, а? Душа ликует!

У девочки отлегло. Неожиданно возникший было невольный страх улетучился, словно не было его никогда, и вспыхнула светлой радостью детская душа-зерно.

Как же славно было покачиваться в небольших, набитых шуршащим сеном санях, широким уютным корытцем пристёгнутых к оглоблям! И как славно было вслушиваться в шелестящее скольжение деревянных, обитых железными лентами полозьев и в мягкое, еле уловимое цоканье копыт по твёрдому, укатанному полотну зимней дороги! И вновь уплывать, уплывать под мерный ритм плавного покачивания в блаженный мир зыбких и безмятежных сновидений-миражей, белой крупкой слетающих с остывших небес.

— Родной-то дедушка у тебя имеется? — Девочка, уловленная на полпути из сладких нетей летучего сна, вздрогнула тельцем, а дядя Петя добродушно засмеялся: — Никак уснула?

— Не-а... не сплю я! — Анюша широко распахнула слипшиеся было крепко глаза и прямо уставилась в улыбающееся лицо. — Просто глазки зажмурились...

А тот смеется:

— Ах ты боже мой! Просто у нашего дитятки глазоньки зажмурились! Ничего-ничего!.. в дальней дороге и вздремнуть не грех... Ты поспи-поспи... Притулись под боком поудобнее и спи себе... Нам ещё ехать и ехать... Не окостенела от мороза-то?

Девочка собралась промычать «не-а», однако ответила вдруг на недавний вопрос:

— Нетути дедушки. Он, когда война была, помер.

— Старенький был?

— Не-а... Бабуля говорила, что совсем не старенький... У него сердце разорвалось...

— Сердце, говоришь, разорвалось? — вздохнул.

— Да... Он в трудармии был. Там и разорвалось...

Что такое трудармия, Анюша ведать не ведала, но слово, не однажды произносимое при ней, хорошо запомнилось.

Дядя Петя, вновь вздохнув глубоко, сказал с явным укором:

— Так-то оно так... Это уж точно: там чаще не вены-жилы лопались — именно сердце чаще и не выдерживало... Но-о! но-но!.. — прикрикнул он на Любку, ходко тянущую санный возок, и нервно ударил правой вожжей по рыжему боку лошади. — Давай-давай!.. Вперёд!.. вперёд, моя красавица!.. Не ленись!.. Пря!.. пря-пря!..

Меж тем Анюша, сонные миражи которую оставили окончательно, продолжала рассказ о деде:

— Его туда Гутман отправил.

— Это ещё что за Гутман такой?

— Которому дедушка отказался сапоги шить...

— Дед сапожник был?

— Не-а... — девочка запнулась: она не могла вспомнить, как точно называлась должность деда, и тогда сказала: — Он командиром был.

— Каким командиром? Главным?

— И вовсе не главным! Он сапожной мастерской был командиром... в Краснокамске, когда они тама жили...

— Ну-да... ну-да... как же... как же, и сапожной мастерской свои командиры нужны!.. — старик то ли согласился, то ли пошутил.

Но Анюша, пропустив те интонации мимо ушей, рассказывала дальше:

— А Гутман над ним командиром был.

— Ну да... Гутман, ясное дело, над ним командиром... по-другому никак... И что же тому товарищу командиру не понравилось в твоём деде?

Девочка начала в подробностях:

— Он пришёл в мастерскую и говорит: сшейте мне новые сапоги! Ему сшили. Потом пришёл и говорит: теперь сшейте моему брату! Сшили. Тогда он снова пришёл и снова приказал, чтобы ещё кому-то там сшили новые сапоги, а дедушка сказал: нет, не будем больше шить сапоги твоей родне, — нам надо сапоги на фронт солдатам шить! Вот как сказал дедушка, а тот дядька разозлился, дверью хлопнул и ушёл.

— Молодец, однако, какой был твой дедушка! И как же звали-величали его по имени-отчеству?

— Устином Алексеевичем. — У Анюши алым румянцем разгорелись щёки под плат-

ком. Стало так жарко, что она полностью высунулась из-под шальки. Продолжила: — Потом дедушке сказали, что раз он партийный, а на войну по возрасту нельзя, то надо ехать в трудармию десятником. Это такой ему дали партийный приказ... И он поехал под Осу, где была трудармия...

Дядя Петя, внимательно выслушав разгорячённую рассказчицу, подытожил:

— Это уж само собой разумеется: раз партийный, то и выполняй всё, что родная партия приказала...

— Только я не знаю, кто это такой десятник, — искренне созналась девочка.

— Ну как бы это тебе объяснить? — кучер несколько задумался, но ненадолго: — В трудармии это тоже почти командир... только младший... который всё считает да записывает, кто сколько деревьев завалил... кто сколько веток обрубил... — осторожно смахнув белой пылью осевший снежок поверх девичьей шальки, спросил: — Теперь-то будешь знать, кто такой десятник?

Анюша утвердительно закивала, а дядя Петя бросил в сторону:

— Много... ох, много где по уральской стороне леса повалили... Деревья падают — на весь лес такой стон-грохот стоит: страх до костей прошибает... Привыкнуть не можешь... Порой этот шум-треск сны насквозь прошивал... Да-а... много валили... много... а уж сколько того леса на фронт везли: эшелон за эшелон... эшелон за эшелон... валить не успевали...

Старик, в который раз выдохнувший тяжело, затих, а Анюша, размыслив про себя нечто конкретное, через короткую паузу спросила в лоб:

— А вы там были, да?

— Да нет... под Осой я не был... не пришлось... — ответил не сразу. Пояснил: — Мне, деточка, выпала честь лес валить чуть посевернее... где, случалось, и птица морозным днём ледышкой на землю падала... — Снова глубокий вздох-выдох. — И мне, знаешь ли, суждено было встретить по жизни своего хорошего человека... Тоже век не забуду... Только вот имя того хорошего человека некому передать... Но-о! но! Любка! Пря!.. пря-пря!..

Анюша не унималась:

— А вы тоже партийный были, да?

— Партийный, говоришь? — дядя Петя хмыкнул. — И то верно: был и я — партийный! Только вот партия моя была несколько иной...

— Как это? — удивилась девочка. — А разве другая есть?

— Есть... есть, моя девочка, и другая... где все под своими номерами, да где кричат-приказывают: первая партия пшла! вторая партия пшла! третья пшла!.. И все бегут беспрекословно выполнять партийный приказ... Один на всех: выжить, если только сможешь костлявую старуху обмануть... — голос старика стал жёстким, холодным, чужим... Затих.

Сидела под боком молча и насторожённая девочка.

— Поняла-поняла! — Анюша вдруг разорвала тягостную тишину. — Бабуля смешинку рассказывала: шла-шла партия по дороге долго-долго, и тут вдруг в го... — девочка осеклась в смущении, поздно осознав, какое слово собирается произнести, но успела поправиться: — в какашки вяпалась, — довольная собой, озорно прыснула, ткнувшись покрасневшим носиком в мохнатую варежку.

Дядя Петя тоже невольно рассмеялся:

— Ну и хулиганка же твоя Анастасия Савельевна! — однако, резко оборвав свой короткий смех, выдавил из себя грустно: — И как ведь верно: одни шагали, шагали и только раз за разом в дерьмо наступали, а другие на той же дороге в светлое будущее по уши грязь месили... — а затем, склонившись низко над Анюшей и поймав её вспугнутый взгляд, очень строго сказал: — Только вот что, деточка моя хорошая, ты таких смешинок больше никому не рассказывай... Боже тебя упаси!.. не надо!

— Почему не надо? — непонимающе перебила его девочка.

— Потому что не надо — и точка... — всё так же сухо и строго произнёс дядя Петя: — Несмешно, знаешь ли... И не приведи господи узнать тебе, почему несмешно... И вообще, запомни: такой умной девочке не пристало произносить всякие глупости... Ясно?

Анюша не ответила. Ей и самой было стыдно, что вспомнила эту дурацкую смешинку. Девочка смущённо притаилась, а у оставлен-

ного далеко позади края дороги обозначилась вдруг плотная тёмная точка — она и отвлекла внимание.

Точка увеличивалась и увеличивалась в размерах, превращаясь на глазах в мчащуюся на них в облаке холодной взрывающейся клубами белесой пыли автомашину. Чёрной громадой, громыхающей промороженным до белесой стыни железом, догнал их санки самосвал и, поднимая снежное крошево с полотна, злыми пригоршнями расшвыривал его по сторонам. Стремительно пронёсся мимо.

Лошадь испуганно дёрнулась и круто рывком оттянула возок к обочине, чуть было не вывалив своих ездоков: дядя Петя успел натянуть вожжи, и Любка как вкопанная уткнулась мордой в мягкий снег.

Самосвал умчался вперёд; парусом потянулся следом, цепко уцепившись за задок низкого борта, тяжёлый белесый шлейф. Вскоре машина совсем исчезла с глаз, и они вновь остались на дороге одни.

Дядя Петя вылез из саней и, грузно ступая в огромных валенках и снимая на ходу с рук большие рукавицы, медленно подошёл к лошади. Вытянул её морду из сугроба. Осторожно отряхнул прилипший обильно снег. Смотал болтающиеся низко гужики. Проверил всю упряжь. Поправил шлейку. Подтянул ремни на одной оглобле. Неспешно обошел сани — подтянул на второй. Похлопал Любку по вздыбившейся коротким ёжиком холке:

— Ах ты, бедняжка... испугали тебя... Отдохни, голуба... отдохни... приди в себя... — Поставил немного рядом и только затем под уздцы вывел её на середину дороги.

Тяжело уселся в широкие сани. Надел рукавицы, взял в руки вожжи, медленно поперебирал их и, легонько хлопнув по бокам лошади, ласково не приказал даже, а попросил:

— Пошла... пошла... Вперед, Любка... вперед... Пря... пря-пря!..

И заскрипел возок. Тронулся медленно с пристывшего места. Осторожной ступью сдвинулась Любка с места. Прошла несколько метров и вот сама по себе, быстро в лёгкий мах набрав рысистый ход, споро побежала вперёд.

Ехали молча.

Слышно было, как дядя Петя то ли тянет напевным речитативом что-то грустное себе под нос, то ли шепчет плавной, ритмичной скороговоркой длинную молитву, а девочка, заметно потерявшаяся в затянувшемся молчании, тихо сидела под его вместительным боком. Неуловимым образом ей передалось пережитое недавно добрым стариком, пусть и потаённое, чувство беспокойной тревоги. Анюша навряд ли сумела бы сейчас не то что передать словами, но до конца и понять своё состояние, однако отзывчивое сердце ребёнка замерло в искренней жалости.

Отстранённым взглядом, без чувств и эмоций всматривалась она в незнакомую, мелькающую перед взором округу, где, кажется, выше и круче стали замёты снега в подножье вековых разлапистых и смурно нахмуренных елей, снежные тулупы которых ещё более набухли и отяжелели.

В одиночестве зависла в морозном воздухе птаха — то застыл в немом оцепенении ненадолго заблудившийся воробышек. И низко провисало побледневшее небо, да и красно солнышко, слив всю свою желтковую желть, полым белесым шаром покатилося к закамской западной стороне.

Замутился день. Посерел.

— Значит, говоришь, под Осой в трудармии умер твой Иустин Алексеевич? — неожиданно дядя Петя прервал вопросом долгое молчание.

— Ага! — Анюша отозвалась оживлённо.

Вновь разговорились. И полилась их неспешная беседа вполголоса.

— Прямо за столом и помер... — начала девочка. — В бане помылся... в чистое переоделся... сел письмо домой писать, что скоро приедет... Письмо-то он успел написать... и помер...

Старик, вздохнув, протянул напевно незнакомое:

— Дай нам, Господи, смерть мирну... непостыдну...

— Баба Настя хоронить поехала, — продолжила Анюша в подробностях рассказ, — а приехала когда, его уже в могилку закопали... Бабуля только на кладбище сходилась...

— Уже то хорошо, что хоть у могилки близ-

кого человека постояла... поплакала... — дядя Петя глубоко, с открытой горечью в голосе вздохнул.

— Бабуля ещё черёмуху у могилки посадила... это чтоб потом могилку найти... весна ж была... — добавила девочка. — А мама не ездила. Она не могла. Коленька маленький был, а Виталик меньше его... Виталик — другой мой братик...

— Это ж просто замечательно, что у тебя ещё один братик есть!

— Нету его... Он тоже помер... Ему и два годика не исполнилось... Виталик на даче поноситься стал, а маму не позвали к нему, и он умер...

— Да-а... грустные дела... Выходит, твоей маме по жизни несладко пришлось...

— Очень несладко... — согласилась Анюша. — Она своего папу очень любила... И он её очень любил... Всё Дюшенькой звал... Моя Дюшенька... Мама плакала и не верила, что он взаправду помер... Треугольник-то пришёл же!..

— Какой треугольник?

— Да-а... письмо же! Оно же треугольником складывалось!..

— Да-да... что-то я запамятовал... Видишь ли, дорогая моя девочка, и такие-то письма не до всех доходили...

— Терялись, что ли? — Анюша искренне выказала своё возмущение.

— Как и сказать?.. — начал было дядя Петя, но продолжил лишь через долгую паузу: — Может, теряться и не терялись... может, и вовсе не писались... случалось, что и писать некому было... и некуда...

— А-а... — неопределенно промычала девочка. — Им пришло письмо... через две недели пришло... Мама, как прочитала его, — и в слёзы: не верю, что мой папа помер... Он же сам пишет, что скоро приедет... это же его рука... А ты, мама, — она бабуле говорит, — его упокойником и не видела вовсе...

— И то верно, как тут поверишь? — согласившись, дядя Петя уточнил: — У взрослых это, деточка, называется «надежда умирает последней»... — и, резко потянув на себя поводья, вскрикнул: — Стой! Стой, Любка!.. Не спеши!.. Нам, милая, пока не туда...

Только тут обнаружила Анюша, что въехали

они на окраину большого села. Вдоль трассы редким порядком стояли оснеженные дома, отгороженные низким, сплошь в снежных зачётах, штакетником.

И хотя широкая укатанная дорога продолжала свой бег прямой линией далеко вперёд, кучер круто развернул лошадь направо, а там, за правым своротом, сразу же увиделись чёрные чугунные ворота в длинном ряду высокой решётчатой ограды.

Любка ходко втянула сани через одну из распахнутых настежь створок на огороженную территорию, где в строгом каре стояли стройные корабельные сосны, смыкаясь в вышине белесыми кудрями закованных морозным холодом крон.

Через площадь прямой линией тянулся короткий путь к широкому крыльцу главного, похожего, как увиделось девочке, на сказочный дворец с арочными колоннами, корпуса Усть-Качкинского курорта.

Анюша сразу же догадалась, куда они подъезжают, и теперь перед скорой встречей с мамой на неё нахлынуло, отринув всё напрочь, душевное волнение...

Вокруг никого не было видно. Пустынно-пустынно...

И тогда пугливое воображение обнажённой души нарисовало страшную картинку, что мамы здесь вовсе нет и вообще никогда не было. Маленькое сердце спеленал ужас, больно заломило лобные пазухи, остужённые за долгий день на морозе.

Любка легко подтянула возок к крыльцу с белой балюстрадой по бокам. Остановилась. Скосила узкую морду с лупастыми глазами на седоков, выбравшихся из саней. Дядя Петя за длинный повод подвёл лошадь ближе к крыльцу и привязал её к пузатой балясине.

— Жди тут! Я скоро!.. — И Любка послушно замерла, а они с девочкой, поднявшись по ступенькам на широкое крыльцо, через высокую двустворчатую дверь вошли в большое фойе.

Было безлюдно и здесь.

— Отдыхают все... — пояснил дядя Петя нахолившейся девочке, сердце которой трепетало в груди вспугнутой птахой. — Не бойся, найдём твою маму!..

На шум скрипуче открывшейся двери из

ближней по коридору комнаты вышла женщина в белом халате. В недоумении посмотрела на вошедших в клубах морозного дыма странных посетителей.

— А вы, дорогие, случайно не заблудились? — сухим строгим голосом любопытствовала она.

— Никак нет... — смахивая снежную пыль с бороды, ответил дядя Петя, когда они подошли к ней поближе. Уточнил: — Как раз правильно пришли. Вот эта юная гражданка явилась мамочку свою навестить.

— Как навестить? — женщина открыто опешила. — Посещения у нас совсем не положены... К тому же сейчас все отдыхают: тихий час...

— И что ж, вы ребёнку её маму так и не покажете? — поинтересовался с явной иронией в голосе старик.

— Не положено — и всё! — категорично отрубил женщина.

— Дитё, между прочим, сюда полдня пешком шло... — начал было дядя Петя выкладывать главные аргументы.

— При чём тут это? — та, сверкнув тёмными глазами, оставалась непреклонной. — Её сюда, как я понимаю, никто на верёвке не тянул...

— А вот здесь вы не правы! Её как раз и вела сюда любовь к маме... — кучер перебил женщину, а красная не столько от мороза, сколько от волнения Анюша, облатки век которой от переживаемого страха побелели, с глазами, полными слёз, всех этих слов, кажется, и не слышала, но и, не слыша, верно догадывалась, в чём весь их пугающий смысл...

В это время в глубине фойе появился высокий худощавый мужчина в белом халате. Он в отдалении проходил мимо, но, увидев вошедших, попрдержал себя и внимательно посмотрел в их сторону. Затем быстро-быстро подошел.

— Нина Павловна, — обратился он к женщине, — что-то случилось?

— Вот требуют им маму показать...

— Какую маму?

— Мамочка её здесь на излечении... — это дядя Петя поспешил вклиниться и начал аргументированное объяснение: — Девочка пешком шла... шла по морозу... через Каму шла,

чтоб только свою больную маму навестить... А нам, — и он, осуждающе посмотрев ей прямо в глаза, продолжил: — товарищ старшая медсестра говорит: не положено...

Возникла некоторая неловкость в поведении женщины, вспыхнувшей нервным румянцем, и она поспешила оправдаться:

— Иван Дмитриевич, я ж им только попыталась объяснить, что не положено никаких свиданий на территории курорта... Вне — пожалуйста!..

— Нина Павловна, голубушка, о чём вы?! — в голосе врача-невропатолога, — а это был именно он, как выяснится позднее, — открыто прозвучали осуждающие нотки: — Найдите же скорее эту счастливую мамочку!..

И медсестра, спросив у девочки фамилию её матери, стремительно ушла, успев, однако, бросить что-то недовольное себе под нос.

Как только они остались одни, то Анюша, в скором ожидании лелеявшая отрадное чувство любви к маме, оказалась невольной свидетельницей необычной сцены, при этом она не просто удивилась, а по-настоящему опешила. И было чему: взрослые дяденьки, широко взмахнув разом руками, вдруг устремились друг к другу навстречу, крепко обнялись и по-братски трижды расцеловались.

— Петр Алексеевич, дорогой мой, вот радость! Не ожидал ещё раз с тобой свидеться!.. — начал Иван Дмитриевич совершенно другим, мягким и тёплым голосом. — Какими путями? Я ж думал, что уже всё — уехал мой добрый товарищ... Неужто расстроилось всё? — переспросил тревожно. — Что-то изменилось, да?

Дядя Петя, голубые глаза которого из-под мохнатого trebuха излучали ясный свет, ответил тихо:

— Нет-нет... слава богу, ничего не изменилось... Уезжаю совсем скоро... На днях, думаю... Сегодня вот только попросили съездить... заболел человек, принятый на моё место... А сюда сопроводил вот эту трепетную юницу... по дороге подобрал...

— Как я рад за тебя... — негромко продолжил Иван Дмитриевич. — Искренне рад... и даже, не скрою, завидую тебе... Прости меня, грешного...

— Бог простит... Я и сам не верю своему

счастью... Может, бог даст, и удастся нам свидетельствовать... Ты, Ванюша, приезжай ко мне... Если только ничего не изменится, ищи меня у преподающего Сергия...

Их разговор был столь скор и стремителен, как мудрёная скороговорка, что Анюша не всё и сумела понять-разобрать, хотя ушки в этом случае на макушке держала остро, а дядя Петя и Иван Дмитриевич ещё раз крепко обнялись, пожали друг другу руки и, попрощавшись, разошлись по сторонам в тот самый момент, когда в фойе вернулась строгая медсестра.

Следом за ней шла мама. В простеньком домашнем халате. С тяжёлым платком в крупную клетку на плечах.

И всё-всё на белом свете в этот миг было позабыто маленькой девочкой. Она бросилась к самой родной, самой дорогой из всех мам во всём белом свете. Обхватила её ручками, уткнулась в мягкий живот и задохнулась от счастья.

А мама растерялась. Она стояла посреди просторного фойе, прижимала к себе взлохмаченную кочаном головку дочери — и, не стыдясь своих слёз, плакала:

— Анюшенька, ты как здесь очутилась? Откуда?

— Еду я... — вклинился кучер, проводивший перед этим долгим взглядом ушедшего Ивана Дмитриевича. — От Гамов только отъехал... Смотрю: впереди путник ростом с два вершка, в одиночестве движется... Топают и топают вперёд... Меня в тулупе буйный холод жмёт, а дитё идёт себе и идёт... Подъезжаю, спрашиваю: куда? А она: к маме на курорт, с гостинцами... Так что получите с доставкой по точному адресу...

— Спасибо вам, добрый человек... — прошептала сквозь слёзы мама и с едва уловимой тревожной радостью в голосе спросила дочку: — Назяблась, поди?

— И совсем нет! — Анюша торжествующе обвела всех искристыми глазами.

— Ну и мудра же она, мамочка, у тебя! Всё-то знает... всё-то расскажет... растолкует!.. Молодец! — дядя Петя смотрел на Анюшу, широко улыбаясь.

— Это всё бабушкина наука... — объяснила мама. — Она с ней с рожденья разговоры про

жизнь ведёт... Я-то больше на работе, а они всегда вдвоём...

— А что?! Наука очень даже хорошая!.. Правильная наука!.. Всем бы её пройти... Ну, ладно, вы тут общайтесь-угощайтесь, а я где-то часа через полтора-два назад буду ехать, так что захвачу её... Жди, Аннушка! — и старик ушёл.

Высокая дверь за ним с шумом захлопнулась, а от морозного, густым клубом ворвавшегося снаружи воздуха мама, поперхнувшись, закашлялась. Она захаркала, но без напряжения, как раньше, — это чутко уловила девочка.

Нина Павловна, которая осталась с ними, сказала примирительно:

— Идите к себе в номер...

Мама, прокашлявшись, между тем начала разоблачать дочку: развязала и сняла платок, растегнула пальто, развязала тесёмки капора, — и теперь вскинулась вопросительно-недоуменно взглядом на говорившую.

— С ней... с девочкой идите... — повторила старшая медсестра.

— Можно?! — мама переспросила осторожным голосом и, не дождавшись подтверждения, торопливо поблагодарила: — Спасибо вам большое!..

— Это спасибо не мне... — Нина Павловна глубокими тёмными глазами буравила насквозь открыто возбуждённых от счастья мать и дочь. Анюша под этим тяжёлым пристальным взглядом зарделась, а та продолжила: — Скажите спасибо нашему невропатологу... Это он у нас такой добренький для всех... — и, оставив их одних, поспешила уйти, однако брошенное ею на ходу: — Не понимаю, как можно было отпустить маленького ребенка одного в такую даль... в мороз... Удивительная беспечность... — услыхались.

Анюша с мамой поднимались по широкой лестнице на третий этаж. Девочка видела, что маме ещё с трудом даётся этот подъём. Преодолев очередной марш, она останавливалась на площадке передохнуть, а девочка, разомлевшая от тепла и возбуждения, всё тараторила и тараторила, излагая события сегодняшнего дня в мельчайших подробностях, — начиная с раннего утра, когда замешивала тесто, и до того момента, как подъехали к курорту.

— Бабулька всё плакала и плакала, что не может пойти к тебе... А я сказала, что в каникулы пойду к тебе... — и Анюша восторженно подытожила: — Вот и пришла!

А мать, вспыхивая ликующим счастьем, всякий раз, задерживаясь для передышки, крепко прижимала к себе своё кровное дитё — и целовала, целовала...

Поднялись. Прошли по пустынному длинному коридору. Вошли в небольшую комнату, где на одной из двух кроватей лицом к стенке лежала грузная женщина.

Мама прижала предупредительно палец к своим губам, чтобы Анюша вела себя тихо, и осторожно прикрыла дверь. Положила дочкины одёжки, которые держала в руках, на стул у входа.

У того стула, с интересом оглядывая маленькое помещение с высоким потолком и широким, плотно зашторенным окном по центру противоположной стены, Анюша и застыла.

— Не сплю я!.. не сплю!.. — женщина, не оборачиваясь к ним, громко предупредила.

Мама присела на край своей кровати. Наклонилась к прикроватной тумбочке, вынула оттуда что-то шуршащее.

— Иди сюда! — позвала дочку. — Тебе тут вот Дед Мороз подарок принёс! Просил передать... — и мама протянула Анюше красивый белый кулёчек, с которого на неё с явной хитрецей в глазах смотрел широко улыбающийся сам новогодний даритель.

— Ой, а вот же и мои гостинцы! — вскрикнула девочка и, расстегнув пуговочку на холщовой сумочке, вытянула наружу завёрнутые в плотную ткань шаньги. Откинула край тряпицы, чтобы порадовать мамочку своей искусной стряпнёй, и опешила: замороженными камушками стали её шаньги.

Девочка готова была расплакаться от обиды и огорчения, но мама умилительно смотрела на дочку и успела обнять её за дёрнувшиеся было острые плечики, чтобы успокоить:

— Ох, да хороши!.. Румяные!.. Красивые!.. — а голос у самой предательски влажно вибрировал. — Ничё-ничё... отойдут в тепле, и попробуем твой гостинчик!.. И тетю Тоню угостим...

Тем временем со словами:

— Зюзи какие!.. Столько уж лет живу тут, а

привыкнуть не могу... Всё зябну... всё зябну... — мамина соседка с трудом поднялась с кровати. Придирчиво осмотрела девочку, поинтересовавшись доброжелательным тоном: — Это и есть наша неожиданная гостья?

Анюша еле слышно прошептала:

— Здрасьте...

Она боялась смотреть прямо и лишь искоса наблюдала за тётей Тоней, взгляд которой округло, по-рыбьи выпуклых глаз был приветлив, однако ж оплывшее, истомлённое лицо её, во множестве, как рябинами, изуродованное чёрными точками, откровенно напугало.

— И тебе здоровеньки... Это как же ты дошла-то? — спросила заметная озябшая мамина товарка; поверх тёплой кофты, в которой лежала, она поспешила набросить на себя ещё и длинную шерстяную хламиду, а на голову, стриженную по-мужски ёжиком, уже отрастающим, набросила толстый плат, упрятав большие петлистые уши. — Это ж надо, зюзи такие, что в помещенье нету мне сугреву!..

— Наудачу доброжелатель подвернулся... подобрал... на лошади довёз сюда... — ответила за дочку мать и добавила: — У тебя, верно, температура поднялась...

— А!.. не знай!.. — женщина неопределённо махнула рукой. Подошла к окну. Откинула длинную шторку в сторону. В комнате стало светлее и просторнее, однако огружая фигура её плотно загоразивала видимый в окно обзор.

— Синичка-то, выходит, к нам на подоконник не просто так прилетала... Всё звенькала с утра... А мы-то гадали: к чему бы? Она, вишь, нам предвестницей была, чтоб гостью ждали... — и тётя Тоня отошла от окна, через которое широкой белой панорамой увиделась заснеженная Кама.

— Точно так, Тоня, и есть! Начивиркала гостью дорогую!.. — с нескрываемой торжествующей радостью в голосе согласилась мать со своей товаркой, но та успела выйти вон.

Анюша, чутким сердцем уловившая радостный мамин покой и быстро освоившаяся в комнате, осторожно полюбопытствовала про тётю-Тонино лицо в чёрных пугающих точках.

— Это у ей угольная пыль в поры въелась... С молоденьких лет она, доченька, шахтёркой на

шахте... Всю войну в забое провела... потом ещё долго... Её сейчас жаба грудная замучила... давит горло и давит...

— Ой, мамочка, не надо!.. Никогда не надо, чтобы наш Коленька на шахте работал!.. — тревожным голосом быстро-быстро зашептала девочка.

— И не станет... не станет он у нас шахтёром... он у нас на электрика выучился... — мама стремительно развеяла обуявший дочь страх за старшего брата, перед армией окончившего ремесленное шахтёрское училище в Кизеле.

— Подарок-то чё никак не посмотришь? — подивилась мама дочери, которая так и не притронулась к сладкому кулёчку. Предложила: — Конфетку возьми... тама и шоколадные есть...

— Не-а... — глухо промычав, Анюша, давно сопротивляясь зазывному взгляду Деда Мороза, улыбающегося с бумажного пакетика, отвернулась к окну, где в серо-голубой дымке простиралось оцепенелое белое безмолвие.

— Кушать же, небось, хочешь?.. — тревожилась за ребёнка мать. — Там и вафельки есть... Их пока съешь... — Она торопливо взяла с тумбочки две шанежки и положила их на тёплую батарею под окном. — Помягчели чуток... Скоро вовсе отойдут... и покушаешь...

— Не буду... — девочка остро вглядывалась в простирающееся над безмятежно чистой рекой светло-голубое, сплошь в тонких полосах перистых облаков, небо.

— Почему это? — с тревогой в голосе вновь удивилась мама.

— Мы до первой звезды сёдня не едим...

— Это ещё что за новость?! — укорливо всплеснув руками, мать тут же сообщила негодующе вернувшейся в этот миг в комнату соседке: — Вот ведь чё учудили старый да малый, а?! Они, видите ли, есть ныне до первой звезды не будут... Ладно, старый человек по-старому живёт, так и эта туда же...

Тётя Тоня подняла на Анюшу окупённые глаза и, пристально, с интересом посмотрев на неё, вдруг произнесла утверждающе:

— Путешествующим можно и пораньше поесть... Ты у нас кто — путешественница, да?

— А откуда вы так знаете?! — незыблемость

Анюшиного сопротивления несколько поколебалась.

— Это мой дедушка так говорил...

— А дедушка почём знал?!

— Он знал, что говорил... — квёлые болезненные глаза озябшей женщины, кажется, ожили, но тут же, мгновенно поблекнув, покрылись тусклой плёнкой. — Он попом был... только то давно было... очень давно... я ещё совсем маленькой была...

— Маленькой?! Вот вы и не помните ничего! Всё только сами выдумали! — Анюша, не поддаваясь больше на уговоры, стойко продолжала сопротивляться.

— Нет, почему же?! Я всё хорошо помню... Я тебе правду, девочка, говорю... Думаешь, раз я была маленькой, то ничего не помню?.. Нет!.. Я всё... всё отлично помню... — в протуженном, с ангинной хрипотцой голосе слышались настоящие слёзы. Тётя Тоня умолкла, выдохнула тяжело и продолжила неожиданной новостью: — Там вас похарчевать зовут... из столовки Валентина-официантка прибежала... — и она тем же назыбшим, плаксивым голосом пожаловалась: — От лекарств в роте вкус ржавчины не проходит... Всё не в пользу мне... — истомлённое лицо её на глазах пожелтело и осунулось, но женщина настойчиво повторила: — Идите-идите... Там Иван Дмитриевич распорядился девочку покормить... — и скинула с головы большой плат: короткие волосёнки её обнажились ершистым дыбором.

— А ты всё в задумках своих? — поинтересовалась мама у товарки о чём-то, совершенно не понятном Анюше. Добавила участливо: — Тебе лечиться надо, а не душу томить...

— Мои думки — полные сумки: не унести! — Выпуклый высокий лоб большой женщины нахмурился. — Чего-нито о них и заботиться особь... — Она скинула с себя просторную хламиду, легла на кровать, со скорбной тугой тяжело проскрипевшую под весом её грузного тела.

— Тебе, может, чё принести? Может, чаю? — предложила соседке мать.

— Не хочю... Я и этот не выпила... — безвольной рукой она махнула в сторону своей тумбочки, на которой стоял давно остывший не-

початый стакан в подстаканнике; плотно накрылась с головой.

— Так погорячее, может? — участливые нотки в мамином голосе усилились.

— Пускай... Не надо... Полдничать скоро... Я полежу пока... погреюсь... — глухо отозвалась из-под одеяла на настойчивое предложение больная. — А ты, Дуся, иди-иди: дочит-то покормить же надо...

И мать с Анюшей, которой искренне было очень-очень жалко тётю Тоню, осторожно прикрыв за собой дверь, вышли в коридор.

Спускаясь вниз по широкой лестнице, девочка, перед глазами которой по-прежнему маячил жалкий образ больной женщины, вдруг заметила, что мама совсем не останавливается, как при подъёме, передохнуть и даже не кашляет натужно, перемогая лишь с усилием нечастую одышку. Обнадёживающая мысль о том, что мамин недуг пройдёт, остро пронзила детское сознание, — и Анюша, осторожно тронув мамину руку, озабоченно прошептала:

— Мамочка, а тебя правда вылечат?.. Дядя Петя сказал, что на курорте хорошо лечат...

— Вылечат, моя ластонька... вылечат... А по-другому как? По-другому никак нельзя... Ты ж у меня ещё совсем маленькая...

— Не маленькая!.. не маленькая!.. — перебила её дочь.

— Не совсем маленькая, конечно... — согласилась с ней мама, но уточнила: — Ну, не маленькая ещё... Тебя поднимать надо, а это сколько сил надо! — и она, крепко обняв свою дочурку, осыпала её головку с растрёпанными косицами частыми поцелуями.

Мать потянула на себя из потускневшего металла витиеватую ручку двустворчатой двери столовой, и одна из створок легко распахнулась — в нос ударил густой сытный запах. У Анюши сразу же предательски засосало под ложечкой и слегка закружилась голова: девочка поспешила незаметно сглотнуть обильную слюнку.

Переступили порог огромной залы, где было светло и тепло и где меж длинных рядов из квадратных столиков, застеленных кипенно-белыми, щедро накрахмаленными скатер-

тями, стремительно сновало несколько официанток. Анюша с изумлением наблюдала, как молниеносно сервировались ими столы, в центре каждого из которых красовались высокие, из розового стекла плоские вазы с горкой аппетитных сдобных булочек в снежной обсыпке из сахарной пудры.

И вновь пришлось девочке спешно сглотнуть кислую слюнку: давно уже не сопротивлялась она, сознавшись себе, что очень-очень хочет кушать.

К ним легко подлетела молоденькая официантка, на которой, как и на всех остальных, был беленький, с кружевными понизу оборками фартучек, блестящей брошкой в виде искристого цветка на высокой груди, пристёгнутый к голубенькой кофточке из маркизета, а на пышных, в чёрных мелких кудряшках волосах колом красовалась кокетливая, в строчном рисунке из разновеликих дырочек по резному краю коронка.

У Анюши перехватило дух от лицемерия столь невиданной красоты!..

— Это ль, чё, чудо в перьях почтарь к мамке бандеролькой доставил?! — с ходу поинтересовалась бесцеремонно весёлым голосом официантка.

Девочка, тронутая откровенным вниманием к себе и притихшая от внезапного испуга, прижалась к матери, шепотком подсказавшей ей:

— Здрасьте-то скажи...

Однако язык у Анюши намертво пристыл к нёбу. Раскрасневшаяся от смущения до самых корней волос на головке, она и хотела бы что-то сказать, но ничего из приветственных слов даже не решалась и промывать.

— Испугалась ли, чё?! — добродушно спросила широко улыбающаяся тётя и, добавив озорно: — Не бойсь, я вовсе не кусаюсь! — сказала маме: — Проходите к столику у раздачи. Зараз накормлю!

На столике у передней стены, за который мать усадила дочку, плоской вазочки с румяными булочками не было. И вообще ничего не было, как не было и белой крахмальной скатерти. Столешница из толстого пластика была покрыта клеёнкой в ярких цветочках по розовому полю.

Анюша невольно, с детским простодушием

оглядела огромную залу, торжественность которой придавали свисающие искристым каскадом с потолка во множестве хрустальные люстры.

Поодаль, за колоннами, — увидела девочка, — в самом дальнем от них углу сидел мужчина. Вскоре он поднялся и, лишь когда он подошел к одному из ближайших окон, вытянутых длинным рядом по левой стенке залы, она узнала в нём Ивана Дмитриевича.

Долго стоял к ним спиной врач, всматриваясь в законную округу, прорывающуюся завораживающими глаз картинами сквозь тонкую узорность зальдевых берёз на индеевельх стёклах, на переплётах которых крестообразно лежал пушистый снег.

И хотя Анюша создалась, что очень голодна, она ещё продолжала, слабо сопротивляясь, в душе корить себя. Теперь, вглядываясь в видимую из окна даль, девочка мечтала в оправдание себе уловить в небесной выси слабый блеск первой звезды. Однако там был лишь виден близкий лес, где плотной стеной стояли в белых меховых тулупах до пят разлапистые ели, где дыбились снежные сугробы в перемёт по полю и где наплывала тягучая наволочь низких облаков.

И тёмный лес, и в блуждающих тенях остывшее, овейанное снегами поле, и самый мглистый воздух вокруг — всё заметно затуманилось уже, только лишь по южной линии высокого горизонта, отмеченного ершистой кромкой дальнего леса, ясным и зелёным виделось ледяное небо. И никаких звёзд...

А мама, которая, как и дочка, пристально смотрела в широкое окно, с задумчивой грустью в голосе тихо произнесла:

— Уж солнцу скоро заход...

В это время к столу лёгкой пружинистой походкой быстро подошла недавняя официантка. В руках она держала тяжёлый поднос. Составляя с него всё перед Анюшей, весело приговаривала:

— Никая малёк примёрзла дорогой-то, а? Отанькие тебе горяченького для сугреву нутра... — Аппетитнейше дымящаяся тарелка с гороховым супом появилась перед девочкой. — Это у нас будут котлетки с вкусненьким пюре... — Анюша, уже и не сопротивляясь даже

слабо, была с ней согласна, что именно это пюре самое вкусное на всём белом свете. — А потом махни стаканчик чайку с булочкой! — И на столе появилась та самая вожденная сдоба с белой обсыпкой из сахарной пудры, легла румяной горкой у чайного стакана в затейливом из тёмного мельхиора подстаканнике.

— Спасибо тебе, Валентина, — искренне поблагодарила добрую женщину мама, трепетно ухаживающую за девочкой, задохнувшейся от восторга.

А официантка, присев к ним за стол, сказала:

— Это ж надо, каки гоны девчонка прошла! — и поинтересовалась у Анюши, уплетающей поданную ей вкуснятину за обе щеки: — Любишь мамку?

Девочка, рот которой был плотно забит, только и смогла энергично мотнуть в ответ взлохмаченной головкой.

С пожеланием «приятного аппетита» к столу подошёл врач.

— Спасибо вам, Иван Дмитриевич... Большое спасибо... — чуть не расплакавшись, мама искренне поблагодарила его, а Анюша, опешив из-за его неожиданного появления, то ли от неведомого страха, то ли от внезапного смущения перестала жевать и, зажавшись вся в себе, замерла.

Иван Дмитриевич понимающе кивнул на прозвучавшие слова благодарности и, бросив на оцепеневшего ребёнка лучистый взгляд, заинтересованно спросил:

— Вкусно? — Откровенно оторопевшая девочка не нашлась с ответом, а доктор добродушно улыбнулся и, обернувшись к матери, произнёс: — Передайте Тарасовой, вашей соседке, чтобы зашла ко мне... Я у себя в кабинете буду...

— С Тоней-то чё случилось? — как только врач ушёл, любопытствовала официантка, всё это время с умилением наблюдая за вкушающей с аппетитом Анюшей. — А ты жуи!.. жуи!.. — озорно подказала она девочке и продолжила свой интерес: — Я её сёдня как увидела — и не узнала!.. Другой человек навстречу идёт... Завсегда такая душевница была... выслушает... подкажет, если чё... А тут как обезжизнела вмиг... Куда чё и делось?.. В глазах такая тоска... лучше в их и не смотреть...

— Ангина её за ночь свалила... — начала было мама, но Валентина недоверчиво переспросила:

— Ангина ли?! — и добавила: — А говорят, её нынешней ночью из лесу привели... блуждала... без пальто была...

— Бедная она... бедняжка... жалко её очень... — тихо проговорила мама и, помолчав немного, буквально огорошила новостью: — Тоня мужа свою тут встретила...

— Как — мужа?! — с удивлением в голосе воскликнула Валентина, однако, не дождав-шись скорого ответа, быстро сунула Анюше, дожёвывающей сдобную булку, душистый ярко-оранжевый, как предзакатное солнце, мандарин, присовокупив торжественно: — На-ко вот! Это тебе, дитё, на заглочку! — и вновь повторила свой вопрос: — Какого мужа-то? Она, чё ль, замужем? Говорила ж: одинокая...

— Была замужем... — мама обстоятельно вела свой рассказ: — Тоня его всю войну ждала... Он с фронту пришел живой, но долго в госпитале валялся... Тоня, чтоб денежку колотить, снова под землю ушла... Она в войну в стахановках ходила: девка-то двужилная!.. И тут с мужиками в забое на равных... Скоро она ребёночка потеряла: скинула от тяжестей...

Анюша, мало-помалу освоившаяся и осмелевшая, с открытым интересом внимала беседе взрослых. Она сразу же поняла, что такое означало «скинула от тяжестей». И теперь девочка искренне испытывала скорое чувство жалости не только к самой тёте Тоне, но и к её неродившемуся ребёночку...

— Вот же судьба-судьбинушка! — сочувственно воскликнула Валентина. И, зорко наблюдавшая всё время за Анюшей, умявшей быстро свой мандарин, со словами: — На верхосыточку съешь-ка вот и это! — протянула девочке горсть конфет.

— Балуешь! — отреагировала мама довольным голосом.

— Пушай ест! Лишкой не будет! — махнула рукой Валентина и тут же снова любопытствовала: — И долго они прожили?

— Да, как я поняла, лет-то пять прожили. — Мама продолжила прерванное повествование: — Он из госпиталя вернулся... оклемался... Тоня одела-обула его... Мужик оперился — и за-

гулял... Тоня сказывала, откуда токо его ни выволакивала...

— А чё?! Оно и понятно!.. Однова живём, за счастье бороться надо! — и Валентина обратилась за поддержкой к новой официантке, давно пристроившейся послушать рассказ: — Я разве не права?

И та, в знак согласия энергично мотнув головой в короне из длинной русой косы, поспешила и сама спросить:

— А дальше-то как у их было?

— А то и было, что сговорился с какой-то из своих зазноб, да и укатили они тайком в неизвестном направлении... — ответила мама, а от себя добавила: — Человек с годами привыкает... смиряется... — Анюша верно догадалась, что это мама говорит про себя. — А Тоня, вишь, никак забыть не может... Скоко уж лет прошло, а всё душу травит... всё простить не может...

— И я б никогда не простила! Это ж настоящее предательство будет! — Валентина, крепко сжав кулаки, вскинула руки вверх и угрожающе потрясла ими: — Я б его, гада такого!.. я б его точно убила!..

— У таракана Тишки и то своя судьба... — вклинилась официантка с короной из кос. — Чё уж на себя-то чужую мерить?..

— А я и не меряю! — резко отпарировала Валентина на это замечание и снова спросила: — И где Тоня встретила-то его?

— Тут и встретила... у вас, на курорте... — ответила мама. — Жена его — прачкой в прачечной, а он вроде как истопником...

— Уж не Костяник ли то?! — одновременно в голос с удивлением воскликнули обе официантки.

— Чего не знаю — того не знаю... — ответить на этот раз мама не смогла. — Тоня имя мне не называла...

— И это она из-за него, чё ль, в лес ночью блудить пошла?! Из-за него, чё ль, замёрзнуть решила?! Ну и ну!.. — Валентина то ли откровенно возмутилась, то ли столь же откровенно разочаровалась; тут же с нескрываемым презрением в голосе выдала: — Его ж, плюгавенького, одной соплёй зашибить можно, а другой — прикрыть...

Анюша на это дерзкое замечание озорно

порскнула и, пытаясь упрятать свой заливистый фырк в кулачок, вскинулась торопливо вверх рукой и неосторожно смахнула со стола пустой стакан с подстаканником.

Звяк! — и прозрачный, тонкий стакан со звоном разбился вдребезги. Разлетелись искристые осколки по сторонам, и мельхиоровый подстаканник, украшенный выпуклым узором со Спасской башней в центре и Кремлёвской стеной по окружности, с металлическим дребезжаньем откатился далеко по полу.

Сердце от страха у девочки мгновенно заледенело. Она растерялась. Растерялась и мама, голос которой заметно задрожал от огорчения:

— Ты чё ж это, доченька, так-то неаккуратно?..

Анюша быстро склонилась над полом и, глотая от обиды близкие слёзы, начала с усердием собирать осколки, и мама, успевшая поднять подстаканник, тоже стала собирать маленькие стёклышки.

— Не беда! Вот ещё! — остановила их Валентина. — Известно ведь: посуда бьётся к счастью! Тебе, дитё, на удачу! А это сей секунд всё уберётся!..

Она стремительно убежала и через минуту-другую вернулась с веником и совком. И точно: скоро ничего уже не напоминало о разбитой нечаянно посуде.

В этот момент в столовую вошла Нина Павловна, при появлении которой девочка выдохнула с радостным облегчением, что всё так хорошо обошлось!..

Меж тем старшая медсестра, увидев здесь мать и дочь, брезгливо скривилась и быстро прошла мимо, скрылась за кухонной дверью.

— Явилась... нервы всем начнёт сичас мочалить... — ядовито бросила ей вслед Валентина.

А мама поспешила шепнуть дочке:

— За еду-то поблагодари...

И Анюша, хотя и ленивым, разомлевшим после сытной трапезы голосом, бойко выпалила:

— Спасибо всем за хлеб, за соль, за лапшу да кашу, за милость вашу! — и даже поклонилась, а поклонилась точь-в-точь так, как она кланялась мышкой-норушкой со сцены, когда в заводском клубе они играли спектакль «Теремок».

— Ай да девчонка шустра! — кто-то из офи-

цианток живо откликнулся на эту бойкую тираду, а Валентина, всё так же продолжавшая смотреть на неё по-доброму тепло и весело, не то что просто довольным, а торжествующе победным тоном подхватила:

— А то! Знай наших! Не дитё, а золото!

Осмелевшая Анюша смотрела на всех: и на Валентину, и на остальных женщин в белых фартучках и узорчатых коронках на волосах, и даже на Нину Павловну, вновь появившуюся в зале, — широко раскрытыми лучистыми глазами, а мама, откровенно любуясь дочкой, искренне светилась счастьем.

Вернулись в комнату. Пусто. Тёти-Тонина кровать стояла опрятно застеленной, а Анюшины вещички — пальто, шапка, шалька — аккуратно висели на спинке стула.

— Может, полежишь? — предложила мама, в голосе которой обозначилась тревожная забота. — Отдохнёшь немного...

И не успела Анюша промычать своё «не-а», как вошла мамина соседка. Она уже не выглядела, как прежде, взлохмаченной и неряшливой бабой. Тёмно-синее шерстяное платье с белым кружевным воротничком ладно облегло её высокую статную фигуру: светлая шёлковая косынка прикрывала короткие волосы.

— Тебя Иван Дмитриевич просил зайти... — начала мама.

Но та, скоро оборвав:

— Была уж... — поинтересовалась у Анюши: — Вкусно поела?

— Очень! — живо откликнулась девочка, при этом она пристально посмотрела в упор на тётю Тоню, у которой, как теперь знала, столь горькая судьба.

— Да-а... тут хорошо кормят... — согласилась женщина, с глубокой тоской в глазах смотревшая на чужого ребёнка.

— Ой, а шаньги-то у нас не расплылись ли?! — вспомнив про гостинцы, выложенные отогреться на горячую батарею, мама подошла к окну, однако, зацепившись взглядом за реку, хорошо обозреваемую сквозь редкое узорчатое прядево искристого инея на стеклах, растерянно спросила: — И как же ты, Анюшенька, по Каме-то пройдёшь?..

— Пройду!.. пройду!.. — уверенно отозвалась

дочь, заглянувшая в окно, где над нетронутым немим пространством в синих снегах низко зависло одуванчиком в бело-жёлтом оперенье ослепительное солнце-шар и кружилась, металась в ярком потоке света, вздымаясь широкими крылами, вихревая позёмка. Девочка успокоила маму: — Там же дорога...

— И кака-то дорога?! Замело, поди, всё за день... — сокрушённо молвила мать.

— Зачем замело?! — дочь упорно не соглашалась. — Самая настоящая дорога... По ней даже лошадки ездят...

— И много ли нынче тех лошадок-то... — сомнения терзали материнское сердце, и она с укором и тревогой прошептала: — Чего ж и выдумала старая?.. Спятила совсем, чё ли?.. Вздумала девчонку отправить...

— Я помню раз, — очень тихо настуженным, ослабленным голосом издали заговорила вдруг тётя Тоня, из-за их спин высматривая оконную панораму: — по реке... по льду... двенадцать километров туда и обратно прошла...

— По Каме?! — повернувшись к говорившей лицом, живо спросила девочка.

— Нет... то другая река была... — больной голос звучал грустно-грустно.

— Одна?! — не отступалась Анюша.

— Одна... И было мне всего-то четыре года... Как и не замёрзла?.. Господь уберёт... — ответила женщина.

— А к кому ходили? — девочка, обрадовавшись нечаянной поддержке, продолжила свои настойчивые расспросы.

— К кому?.. — переспросила всё так же очень тихо тётя Тоня. — Вот куда — точно и не помню... а только помню, что записку дедушке несл...

— А зачем ему записка?! — любопытство всё больше и больше распаляло ребёнка.

— Чтоб уберётся...

— Как уберётся?!

— Ну... чтоб спрятался хорошо... чтоб люди, которые искали его, не нашли... И тогда, знаю, дедушка уберётся... — голос совсем-совсем тихий, отстранённый.

— А потом? — Анюша не отступилась.

— Потом-то? — тётя Тоня вздохнула, ответила через паузу: — А потом его нашли... года через три забрали...

— И что? — всё с той же первоначальной догадливостью продолжала пытаться девочка вопросами.

— Что? — Снова помолчав и снова глубоко вздохнув, женщина глухо выдавила из себя: — И убили...

— Как убили?! — с сомнением вскрикнул ребёнок.

— Как?.. Из ружья... Как ещё убивают?..

— Это бандиты были, да? — тонкий детский голос дрожал от страха.

— Не знаю... кто... Может, и бандиты...

— Мама, а это правда?! — девочка глазами, пережёлтыми страхом, вскинулась на мать. Спросила еле слышным шепотком.

А та поспешила успокоить:

— Кто и знает?.. Только ты не бойся!.. Это ж если и было, то давно... Очень-очень давно... при царе Горохе и было... Ныне никаких бандитов нет... не бойся, девочка моя... не бойся...

— А помнишь, бабуля говорила, что дядю Никифора — вы ещё его фотку смотрели — тоже в Перми бандиты убили?! — не унималась, однако, Анюша.

— Так то ж когда было?! Давно и было...

Меж тем слабой ало-розовой полосой обозначились западные пределы, где над длинной грядой тёмного леса за Камой вспыхнули озолотью по рваным краям лохмотья клубистых туч, а предзакатное солнце, ярким одуваном повисев напротив окна и осветив в небольшой комнате дальние углы, всё ниже и ниже сползало к тем пределам; и засветились розовым светом снежные поля.

— Заход скоро... — всё с теми же тревожными нотками грусти в голосе, бросив на дочь нервный жгучий взгляд, сообщила мать. Добавила: — Собирайтесь, доченька, пора...

И точно через минуту-другую угас жар-пыл, уплотнился, и солнце кровавым сгустком потянулось плавно вниз, где, словно пробуя осторожной ступью стылую воду небесной реки, замерло на краткий миг, готовое вот-вот диском из красного золота упасть в ту стынь-воду...

— На мороз солнце!.. — тётя Тоня продолжала стоять у окна. Постояла-постояла и вдруг еле-еле слышно печально затянула:

*Я – великий грешник
На земном пути...
Господи, помилуй!..
Господи, прости!..*

*Помоги мне, Боже,
Крест свой пронести...
Господи, помилуй!..
Господи, прости!..*

*А я слаб душою...
Телом тоже слаб...
И в делах духовных
Я презренный раб...*

Господи, помилуй...

Анюша, которую мать успела укутать, вертела наглухо накрученной головой, чтобы хоть что-то уловить из того, о чём пелось у окна.

– Тётя Тоня поёт, да? О чём она поёт? – девочка пыталась уточнить у матери смысл слабо звучащих слов, но мать, пряча свой скорбящий взгляд с откровенной слезой, не отвечала.

В остуженном, с больной хрипотцой голосе тихо поюшей женщины зазвучали пусть неотчётливые, но легко угадываемые слёзы. И, не оборачиваясь к ним лицом, мамина соседка, то ли просто вспомнив, то ли объясняясь поспешно, сказала громче:

– Это бабушка моя пела... Певуньей с молодости слыла... Её дедушка и замуж-то взял из-за голоса... Будешь, объявил ей, на клыросе у меня петь... И она пела... А после всё больше плачи выть пришлось... – и тётя Тоня, затаив в себе самое, видимо, сокровенное, осеклась.

Мама, которую тягостная беспокойная мысль не просто не отпускала, а всё более и более давила, снова и снова проверяла дочкино снаряжение, подтыкая то в одном месте, то в другом, и наконец, перетянув концы шальки на спине вперекрёст, выдавила из себя покорно:

– Всё... пойдём уж... а то дядька, поди, уедет без тебя... Ждать ли чё будет?.. Чай, на работе человек...

Вышли на улицу.

Стремительно угасал, догорая, смутный

зимний день. Меркло всё вокруг. Ветшало, истончаясь, на глазах... Ранние сутемки в лиловой синеве обволокли мир, и теряло свою последнюю силу холодное зарево над лесом. Вот небесная крепь наклонилась, и солнце, вздрогнув в лёгком ознобе, упало за дальний край: последний предзакатный луч, прошив белесую твердь, взорвал в вышине стылый покой. И хотя небо отражало ещё снег, но у западного предела отражаемое зеркало успело уже треснуть и вспыхнуть кроваво-жёлтым пламенем. Отцветал на глазах запад, и стылое, в слабой синьке небо стремительно темнело. Предательски быстро, убегая, укрылся в крепчайшем сумрак-тьме короткий день. Затаился в тёмной глубь-пещере.

Дядя Петя, когда усаживал Анюшу в сани, тщательно упаковывая юную попутчицу припасённым специально большим тулупом из душно пахнувшей овчины, сказал таинственно:

– Да-а... а чёрный конь нас с тобой скоро и догонит, и обгонит...

Девочка вопросительно осмотрела ближайшую округу, но никаких больше лошадей в упряжке не обнаружила, а мама, которая всё время была рядом, поспешила шепнуть дочке:

– Это ж про ночь... Загадка такая...

– Ну что, пора?! – почтарь отвязал Любку от толстой каменной балясины, подтянул упряжь.

Мать, превозмогая, как острую боль, глубокое волнение, низко склонилась над дочкой и, в который уж раз поцеловав её, зашептала просительной скороговоркой:

– Ты, доченька, остерегайся... внимательной будь в дороге... на реке будешь – личико поплотней прикрой, чтоб щёки-то не примёрзли... – а у самой лицо осунулось тревожно, взгляд пожухлых глаз беспомощно нахмурился.

– Не бедуй, мать!.. – обратился к ней дядя Петя. – Не бедуй! Нервы только перетянешь... Мысли пустые прочь от себя гони... Ты лучше помолись за своё дитя...

От неожиданно прозвучавшего предложения мама заметно смутилась. Почтарь же, глубоко вздохнув, продолжил:

– Любка – лошадка ходкая, неленивая. До Гамов быстро добежит... Там мы с Аннушкой передохнём, отогреемся, чайком побалуемся,

и ей уже до ваших Камских Оверят будет рукой подать. Через реку перемахнёт божией птичкой — и до дому добежит. Ей сегодня сам Господь поводит!.. Не так ли? — обратился к девочке, а та, придавленная тяжёлым тулупом, сумела лишь хмыкнуть в ответ.

Справились со своим недавним смущением и мама: тоже согласно закивала головой, а кучер, усевшись рядом с Анюшей, призывно крикнул:

— Пря, Любка, пря-пря!.. Но-о!.. Пошла, милая, пошла! Пря-пря! — и быстро-быстро перебрал в руках тугие верёвочные вожжи.

Лошадь, застоявшаяся в ожидании, радостно дёрнула возок: полозья, разрывая снежный припай, прорезали вечернюю тишину тягучим скрипом и, поднимая снег-рассыпуху, плавно заскользили по плотно укатанному полотну, затянув своеобразную дорожную песнь.

Пригоршни сухого поднятого копытами снега обильно осыпали мамины ноги в низких ботиках, но она ничего не замечала и всё смотрела и смотрела вслед саням, увозившим её ребёнка.

Пока мама, не шелохнувшись, стояла на девочке, неотрывным взглядом цепляясь за санную повозку, Анюша не спускала с неё глаз.

И как же рвалась трепетная душа её сквозь рёбра наружу; и как же плакало-билось маленькое сердечко, хотя и не осмысливая всей полноты и сути переживаемых волнений: просто очень хотелось к маме... просто быть с ней... быть всегда рядом... потому что с мамой хорошо... всегда хорошо... понятно и тепло... всегда-всегда...

Вспыхнул желтушный свет гранёных фонарей — безмолвных стражей, застывших вдоль ограды у распахнутых настежь ворот, через которые лошадь прытко вытянула свой возок.

Вот-вот мама пропадёт из виду, и Анюша, выпростав руку из мохнатого тулупьего нутра, вскинула её в прощальном приветствии над головой. И мама тут же ответила на расстоянии своим прощальным долгим взмахом.

На широком крыльце главного корпуса, как давно видела девочка, меж колонн маячила одинокая фигура маминой товарки, и тонким, как волосок, голосом Анюша настойчиво позвала:

— Тётя Тонь! — и энергично замахала на прощание рукой.

Та, моментально отозвавшись на призыв ребёнка, выбросила им вслед размашистое перекрестье.

Выехали за ворота, одна из чугунных створ которых заслонила собой маму, и Анюша, тая в себе близкие слёзы, замолчала.

Дальний горизонт, видимый в просветы меж деревьями, с четко очерченной кармино-жёлтой границей дня и ночи, истончаясь, исчезал с глаз. И нет уже черты между небом и землёй... пропала зыбкая черта... И всё более резким и морозным становился мглистый воздух.

От Камы потянулся за ними вдогон веющий мразом сиверко и, оплетая, как серпантин, холодной волной наверхия деревьев, разбежавшихся по округе, вьюном закружил над путешественниками.

Миновав последние дома курортного села, Любка легко выкатила обшивни на середину накатанной дороги, прямым тоннелем тянувшейся вдоль вековых, сбитых плотным строем елей.

А сивер-ветр, посвистев-посвистев меж густых островерхих крон, запутался в лесной чаще и пропал совсем; лишь напоследок сорвал шути мохнатую шапку с одной из вершин: упала вислоухая ушанка наземь и, обнажив гирлянду рыжих шишек, рассыпалась снежной трухой.

Всё время ехали молча. Не нарушал обморочной тишины и кучер. Первой заговорила девочка.

— А зюзи — это что? — внезапно спросила громко.

— Зюзи?! — удивился неожиданно прозвучавшему вопросу дядя Петя. — Зюзи, говоришь?.. — И всем корпусом склонился к Анюше. — Отчего вдруг возник интерес? — любопытствовал в свою очередь.

— Тётя Тоня говорила: «Зюзи такие — привыкнуть не могу...»

— Да... к ним привыкнуть нелегко... особенно с непривычки... — вздохнул. — А тётя Тоня — кто будет?

— С мамой в комнате живёт.

— Белоруска, выходит.
 — Не-а... из Кизела она. Шахтёркой была...
 — и через паузу трепетно-таинственным шепотком продолжила: — У неё такое лицо страшное: всё-всё в чёрных точечках...

— Это от угольной пыли...

— И мама так сказала...

— Только всё равно выходит, что твоя тётя Тоня из белорусов будет, — не унимался дядя Петя.

— Откуда знаете?

— Зюзи подсказали... Зюзи, девочка, для белоруса то же самое, что для тебя морозы.

— А-а... — понятиливо протянула Анюша, круглой матрёшкой уютно притулившаяся под боком почтаря, который неожиданно, выкинув руку вперед и растягивая гласные, затянул во весь голос:

— О-ой!.. Ой-да-ой! Мо-ороз! Не-е мо-орозь ме-е-ня-я... Не-е мо-оро-зь ме-е-ня-я... мо-е-его ко-ня-я... — однако знакомой песни той не продолжил, а, оттянув слабенько по выпуклым бокам лошади вожжой, впервые за дорогу обратился к ней: — Эх-ма!.. Любка, гони!.. Гони, милая!.. Хорошо идешь!.. Хорошо!.. Пря-пря!.. Эх-ха-ха!.. — и обмякшим, надломленным вмиг голосом продолжил песню полупшепотом: — У меня жена... Эх-ха-ха... красавица... может, где-то ждёт... ждёт... печалится... — умолк.

Меж тем Анюша, надумав нечто своё, поспешила вклиниться и выдала:

— Бабуля их мугулями зовёт.

Дядя Петя на её слова отреагировал не сразу, но всё же спросил:

— Кого?

— Так их... белорусов.

— Как-как? — почтарь заинтересованно оглянулся на девочку, сидевшую к нему спиной.

— Повтори!

— Мугули...

— Как-то уж очень мудрёно... Отродясь ничего похожего не слышал... И почему так?

— Не знаю... — Анюша растерялась. — Бабуля говорила, что, когда она ещё маленькой была, к ним в деревню мугули из Белоруссии целыми семьями приехали жить...

— Это ж надо такое придумать — мугули! — дядя Петя критически хмыкнул себе под нос, а

девочка, засомневавшаяся вдруг в точности произнесённого ею слова, с осторожной неуверенностью в голосе поправила себя:

— Или мугули?..

— Это хоть на что-то осмысленное похоже... Может быть, те переселенцы из Могилёва были, — вот местные на свой лад их и поименовали. Может, в том и есть вся разгадка? Как ты, душа-девица, думаешь?

— Может, так... — пискнула в ответ Анюша, поспешив согласиться с высказанным предположением, и притихла в смущении.

Сумерилось всё гуще и гуще. Впереди, у восточного края темнеющего небоската, вспыхнув, ярко засияла вечерняя зарюшка. Анюша той первой звезды-вечерницы не видела. Она наблюдала иное: как, ступая след в след, стремительной рысью нагонял их возок чёрный, в вороной отлив конь, — то глухая ночь плотным пологом застилала землю.

И тянулись, тянулись по низкому небу сизыми дымами быстрые мгlistые облака.

— Конфетку не будешь ли теперь? — дядя Петя прервал затянувшееся молчание: протянул притихшей спутнице отвергнутую ранее «каракумку»; и Анюша, выпростав руку из лохматого нутра, стянула зубами варешку и голой ладошкой потянулась за сладким угощением. — Вот и вспыхнула Боготечная звезда-звёздочка! — громко сообщил девочке кучер.

Анюша, преодолев невероятное усилие, сумела развернуться в залубевшем на морозе тулупе, выглянула из-под почтаря и увидела, что впереди, в створе прямой дороги, далеко внизу, яркой точкой светилась большая звезда.

Поворачивала от земли и луна. Блеснула искрящимся серебром, оттолкнулась от невидимого в дегтярном месиве горизонта и поплыла по тёмному небосводу вверх, где и закружила, вальсируя меж низких облаков, наплывающих пепельно-сизыми дымами, а в высь-глубине, пробиваясь сквозь редкое прядево таинственной полумглы, звонкими искорками вызревали далекие звёзды.

— Зирка!.. И пошли за той зиркой... то бишь «звёздой», как говорят твои белорусы... три волхва: Каспар, Мельхиор, Валтасар... — плавно и негромко произнесённые вдруг слова заз-

вучали сказочным зачином, и Анюша, чутко уловив смену в интонациях взрослого человека, окончательно поспешила оставить чёрного, в вороной отлив, коня позади санной повозки, где, потеряв зыбкие очертания, стылые сугробы вдоль дороги вздыбились тёмными тенями, где за плотной стеной вековых елей под скрипучий треск-посвист билась снежная заметель и где густо пахло колючей хвоей.

— Кто?!.. Какие волхвы?! — девочка поудобнее устроилась под дяди-Петиним боком и поспешила заинтересованно спросить.

— Мудрецы такие... звездочёты...

— Волшебники, да?

Дядя Петя с ответом не спешил, даже умолк. Лишь подстегнув сбавившую в беге лошадь:

— Но-о!.. но-о!.. Любка, не ленись! Пшла, милая!.. пшла!.. пря-пря!.. — и как будто потянув за ниточку клубочек, продолжил: — Шли и шли те мудрецы-звездочёты долго. Целый год. Днём и ночью шли-спешили, чтобы только успеть увидеть Того, кто должен родиться под той лучезарной звездой... А ты, свет-Аннушка, — низко склонившись, почтарь неожиданно полюбопытствовал: — точно ли знаешь, кто родился?

— Боженька родился... бабуля говорила... — робко протянула растерявшаяся вдруг Анюша, но поспешила уточнить: — Только Он совсем-совсем маленьким младенчиком родился...

— Да-да... верно: только Он совсем-совсем маленьким младенчиком родился... — близким эхом повторил дядя Петя и продолжил свой удивительный сказ: — Каждый из тех мудрецов нёс тому младенчику свой подарок...

Жгучее любопытство, вспыхнувшее с первых же фраз, разгоралось в девочке всё более и более, а тут ещё и Славка Синотов вдруг вспомнился: почудилось даже, что ясно видит его наяву.

Вот он замаячил в длинном халате и высоким узком колпаке. И халат, и колпак по густо-синему полю часто облеплены серебристыми звёздочками из конфетного золотца. Славка, путаясь в широких полах объёмной одежды и всё время придерживая рукой звёздчатый колпак, без конца сваливавшийся то на один бок, то на другой, медленно двигался невдале-

ке, а звёздочки из золотинок, как на новогоднем утреннике, сухо шуршали и отражали разноцветные огоньки ёлочных гирлянд... И Анюша не выдержала:

— Это сказка такая, да?!

— Вот это как раз самая настоящая правда и есть... Той далёкой-далёкой... запомни, милое дитя... той светлой ночью родился младенец Христос, — дядя Петя, отозвавшись на вопрос девочки и выдержав паузу, неожиданно высоким голосом торжественно продолжил: — Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь...

Какое-то время они ехали молча, вслушиваясь в ночную тишину; потом внезапно мужской ровный голос, преобразившись, зазвучал впотьмах так непривычно, словно всё то, напевное и бесстрастное, доносится из радиоприёмника:

— Дева днесь Пресущественного раждает, и земля вертеп Неприступному приносит; Ангели с пастырями славословят, волсви же со звездою путешествуют; нас бо ради родился Отроча млада, превечный Бог.

Трепетная душа девочки, с изумлением внимающая величественному пению, ликующим восторгом теснила грудь, да и щёки её давно пылали жаром. Ничего почти не понимая из того, что только что прозвучало в ночи, Анюша, однако чутко уловив в чужом голосе близкую и ей радость, жадно ждала продолжения, и дядя Петя, пропев и глубоко выдохнув полной грудью, всё тем же особенным голосом, как будто старательно прочитав по слогам из невидимой книги, продолжил:

— И волсви «падшее поклоняшесе Ему, и отверзли сокровища своя, принесоша Ему дары: злато и ливан и смирну...» — Следом, словно то вторит за ним недавнее эхо, повторил: — ... злато... и ливан... и смирну... Всё Ему — Святому Младенцу... — а потом совсем уж очень тихо-тихо произнёс: — Евангелие от Матфея, глава вторая, стих одиннадцатый...

Анюша не всё поняла в тех таинственно прозвучавших словах, разве что верно сумела разгадать одно «злато», однако ж, сколь ни велико было желание узнать, что это такое «ливан» и «смирна», и сколь ни будоражило непреодолимое стремление понять смысл услы-

шанного, перебить рассказчика новым вопросом больше не решилась.

Почтарь оглянулся на Анюшу, пристывшую у него под боком. Он видел, что дитё, соприкоснувшись с неведомым, затихло в восторженном молчании.

Старательно пыталась девочка постичь смысл и суть всего того, что ей сейчас пришлось пережить — пережить нечто новое: необыкновенное и волнующее. Да и сама морозная ночь, всё более и более обретая мистическое звучание, становилась похожей на неведомую доселе и чарующую чудом дивную сказку.

Кромешная тьма отступила, и окружавший их мир увиделся вдруг таинственным и сказочным. Плоский лунный свет вырвался из летучего плена, залил голубой стын-водой почерневшую было округу.

И засияли необыкновенным светом сугробы.

В синь-цвет окрасилась не только белая длинная дорога — голубым серебром заструились и низко свисающие пряди заснеженных берёз, в редком одиночестве красовавшихся на фоне тёмных елей.

— Вот и звёздочки проклюнулись! — голос прозвучал в тишине так, словно дядя Петя и сам удивился всему тому, как чуду чудному и диву дивному.

Озирая изменившийся мир, вскинулась взглядом девочка ввысь, где чудесная россыпь осыпала тихое, затаившееся в ожидании небо. Небесная сфера над замороженной землёй раздвинулась, и, окончательно разорвав ветхое полотнище сизых летучих облаков, холодными огнями вспыхивали в горних высотах мириады звёзд.

И полился, полился с синих высот дивный искристый свет; улавливались чутким ухом и волнующе чарующие звуки, тонким хрустальным звоном пронизывая стылый морозный воздух; и столь же чарующе, в унисон неземной гармонии звучал одинокий мужской голос, продолживший удивительный сказ, чем ещё больше подстегнул детское воображение.

И вот уже ясно-ясно представляет себе Анюша тёмную, как глубокий провал, пещеру, где холодно и сыро, где мразно и стыло и где, как подсказал мужской голос, «вы найдёте Младенца в пеленах, лежащего в яслях»...

Снова сквозь близкую дремоту увиделся девочкой Славка Синотов. В длинном звездистом халате. В высоком колпаке. И вот уже не один, а целых три Славки отчетливо проявились перед взором. Идут вровень с санями. Идут цепочкой. Крепко держатся друг за дружку, а впереди, указывая верный путь, плывёт по воздуху ярко пылающая искристым серебром большая звезда...

Анюша точно знает, куда они идут, — идут поклониться чуду. И несут свои подарки. Дары... Девочка ясно видит, что каждый из Славков держит на весу бумажный пакетик с улыбающимся Дедом Морозом и цифрами-перевёртышами: 1961.

Маленьким звездочётам холодно и зябко, но они, путаясь в развевающихся на ветру широких полах халатов, часто сбиваясь с пути и вязнув в снегу, упорно шагают и шагают вперёд.

Легко тянула лошадь свой возок. Шуршали по снежному полотну белой дороги стылые полозья. Покачивались на ходу сани-обшивни. Покачивались плавно, убаюкивающе.

Анюша, с головой утонув в тулупе, тихо и незаметно уснула. И уже сквозь сладкий скорый сон прорвалось до её слуха пропетое дядей Петей величественно и торжественно:

— И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человеках благоволение!

Кучер склонился над потяжелевшей под его боком спутницей. Улыбнулся. Потянув на себя вожжи, поспешил притормозить ходкий бег лошади, и, лишь устроив безмятежно спящую поудобнее, снова скомандовал:

— Пшла, милай!.. Пшла!.. Пря, Любка!.. Пря... пря!..

Лошадь с ходу ускорила свой бег, а почтарь приподнялся с облучка и, выпрямившись во весь рост, устремился взором в высь, где, полностью высвободив звёздное небо, разошлись тучи-облака, и громко-громко, что было сил ликующе возгласил:

— Яко Отроча родися нам, Сын, и дадеся нам: Яко с нами Бог!

И тут же звоном-сиянием отозвалось чистое, сплошь в искристых звёздах небо.

Звоном хрустальным, сиянием светлым торжествовал мир!

Уснувшая девочка того торжественного возгласа уже не услышала, но тому, льющемуся и с небес, пению:

— Яко с нами Бог! — внимала её чуткая душа, складывая всё до срока в тайники памяти.

— ...Кажется: приехали!

Вспугнутый громким выкриком сон оборвался.

И проявился в ночи, где всё было пронизано густой синевой, дом с зыблущимся желтушным светом из заиндевелых, снежной кокорой заросших окон.

Любка без команды остановилась у накрепко впаянной в мёрзлый снег деревянной колоды для поила скота.

Кучер спрыгнул с облучка. За повод потянул лошадь к высокому, одиноко стоящему рядом с домом столбу, и, только затянув крепким узлом длинные вожжи в чёрном кольце, обернулся к девочке, непонимающе лупившей полусонные глаза.

— Проснулась ли?! — поинтересовался дядя Петя, и Анюша, сообразив наконец, что к чему, китайским болванчиком закивала головой. — В чайную зайдём. Согреться надо... — и почтарь помог ей выбраться из древесным комлем задубевшего на морозе тулупа, а сам поспешил высоким холмиком бросить перед Любкиной мордой сено, которое толстой подстилкой лежало в санях.

На окостеневших от долгого сидения ногах Анюша заковыляла к крыльцу, где волчком вилась, вздрагивая всем телом от холода, собачонка, которую девочка сразу же узнала. Видимо, и худосочная псинка признала утреннюю попутчицу и, едва-едва виляя коротким хвостом и жалобно подвивая, просительно заглядывала прямо в глаза.

Дядя Петя дёрнул на себя ручку тяжёлой двери. Дверь натужно скрипнула и тяжело раскрылась, пропуская в дом, откуда сквозь чугунный гул глухих голосов пробивалось дребезжащее треньканье балалайки.

Первой в приоткрытую дверь нырнула Анюша, однако не успела она переступить высокий порожек, как, путаясь в клубах морозного

дыма, промеж ног в тёплое жилище нырнула собачонка и, взвизгнув радостно, исчезла с глаз.

— Вот ить зараза какая! Так лезьми и лезет!.. — первое, что услышалось девочкой, когда двери за её спиной плотно затворились и ударил в нос душный спиртовый запах. На вошедших в упор смотрела очень толстая тётя, загородившая собой широкий проём. — Одёжу-то сюда побросайте! — приказала она, указывая рукой на лавку у входа. — Одёжная сёдня закрыта у нас...

Дядя Петя вдруг надсадно закашлялся, недовольно выдавил:

— Да тут дышать нечем...

— Пьянота с утрава засела... Устроили пьянку-галдёж... Всё закоптили куревом... — и не скажи... Гоню... дак не уходят... Ишо вона и псина приташылась... — женщина плаксиво попыталась оправдаться.

Анюша заметила, что собачонка, затаившись плотным узлом — кажется, и не развязать, лежала у ног одного из сидящих за дощатым столом в зыбко колеблющемся густом табачном дыму.

— Туда!.. туда идите!.. — женщина освободила проход вглубь небольшой чайной. — Тама спокойнее...

Меж тем мужики — а было их человек пять — оживлённо загалдели вразнобой.

— О, ёк-макарёк! А вот и знакомый наш дедок! Гля, почтарь приехал!.. — радостно сообщил один из них.

— Дед! А дед!.. подь к нам сюда, а то у нас пара не сбивается... — позвал патлатый худой парень и, тыча пальцем в компанейщиков, добавил плаксивым голоском недовольно: — Эти никакие... Слышь, дед, сыграть шибко хочется... до зуда хочется... идём!

Дядя Петя прокашлялся с трудом и, скинув чёрный тулуп и оказавшись в пиджаке, помог раздеться маленькой спутнице. Затем, обернувшись к шумной компании, тихо произнёс:

— Спасибо, конечно, за приглашение... Только я игрок никакой... не умею... Пойдём, Анюшка... — обратился он к девочке, чуткое и стыдливое сердце которой, выросшей в тихом доме, от увиденного испуганно напряглось и дробно забилося.

— Так уж и никакой?! — брэнчавший на балалайке мужик, по возрасту явно старше всех остальных, резко отбросил инструмент и, подняв седую голову, вперился в почтаря юркими глазами. Но тот не ответил, а, подтолкнув оробевшую девочку вперёд, направился за женщиной, уже шумевшей за буфетной стойкой.

— Ёкарный бабай! Да я ж тебя знаю! Я узнал тебя!.. узнал! — закричал что было сил балалаечник вслед. — И не ври, что не умеешь!.. Не ври давай!.. Ты, Петро, умеешь играть! ещё как умеешь!.. Мастак!.. — сиплый, взволнованный голос срывался на визг. — Иди сюда! — я сказал тебе! Сыграем! Мне отыграться надо!.. Слышь, отыграться!.. Я всё помню!.. всё! Слышь, Петро: я не люблю в должниках ходить! Очень, знаешь ли, не люблю!..

— Ты ошибся... — дядя Петя обернулся и, бросив быстрый оценивающий взгляд на раскрасневшегося человека, по-прежнему тихо и спокойно повторил: — Ты ошибся... Такое бывает... А я, хоть и Петр, только вот лично ты мне ничего не должен... и никогда не был моим должником...

— Нет! Я никогда не ошибаюсь!.. Никогда!.. — раздражение седого усиливалось. Он попытался выбраться из-за стола, однако сильно наклонился вбок и упал на место, где сидел, и тогда со злобой ударил кулаком по дощатой столешнице. — Я запомнил тебя!.. Ещё в том памятном году запомнил... на пересыльном встрелюсь... Всё правильным хочешь быть?! Самым великодушным?! Дудки!..

— Зяма, будет тебе! Ты чё это сорвался?! Не бузи... — дружно хором зашикали на него товарищи.

— Иди лучше на двор выветриц-ца... Пойдём провожу... — услужливо предложил кто-то.

— Увянь, чумырло!.. Он всё добреньким хочет быть... Он там всё с Боженькой дружит... а ты глони! Сказал: заткнись!.. — громко прошипел балалаечник. Крутой лоб его ужасся, глаза сощурились, лицо ещё гуще залило пунцовой краской. Сидит, набычившись, однако через паузу согласно пробурчал: — Помоги, Шурай, что ль...

Хлопнула входная дверь. Свежо пахнуло морозцем.

В тесном зальчике чайной стояло несколько

квадратных столиков, крытых жёлтой, с вытертыми белёсыми пятнами, клеёнкой, столов. На столе, в углу, красовался пузатый ведёрный самовар, золотисто-тусклые бока которого отражали липкий свет единственной, слабо освещавшей пространство лампы.

Густой синевой проникала ночь сквозь двойные, в морозных цветах стёкла маленьких окон.

— Извадились ходить сюда... — говорила женщина тягуче, негромко, как будто всё самой себе. — Отовсюду блатота ходют... даже из-за Камы прутся... Бухают цельными днями... надоели уж... Это всё Шурай собирает компанию... Погуляет-погуляет, пока на свободе... а тама опеть на год-другой пропадёт... А вы вот тут... тут садитесь... — буфетчица успела поставить на ближайший у стойки столик стаканы в простеньких подстаканниках, горячий заварочный чайник, блюдце с колотыми кусочками сахара.

И наши заезжане уселись за стол.

Дядя Петя быстрой скороговоркой шутиво попросил:

— Нам бы, Ирина-хозяйюшка, обед из трёх перемен: первой да второй по тарелке шей густой, а на третье — стакан чаю да пирог мягкий «с таким».

— Дак шей-то и нетути... — Ирина не на шутку растерялась. — Куховар сёдня не вышел... сёдня день-то не евойный... А я ить не готовлю... — начала она оправдываться. — Были пяльмени мороженые... варила... дак эти ж всё и пожрали...

Почтарь, отметив искреннюю растерянность, поспешил успокоить её:

— Это просто присказка такая! Мы ж только на стаканчик чаю и рассчитывали. Не так ли, Аннушка? — обратился он за поддержкой к девочке, затаившейся в смущении.

— Ну, без чаю-то я вас не оставлю! Вода вона закипат, — буфетчица в подтверждение своих слов подбежала к варочной печи, громоздившейся посреди маленькой кухонки, и демонстративно приподняла крышку алюминиевого, до черноты закопчённого чайника, в одиночестве стоявшего на докрасна раскалённой плите. — Пирожок тоже найдём, и даже не «с таким»! — последние слова были про-

изнесены с подчёркнуто заговорщицкими интонациями.

Хлопнула входная дверь. Ворвался с улицы свежий морозный запах.

Чужая грубая речь в отдалении то усиливалась, то затихала, — и вскоре стало чересчур пугающе шумно: пьяные мужики бестолково загалдели, матерно закричали друг на друга, — вот-вот, ожидалось, и вспыхнет нешуточная потасовка.

Буфетчица, переваливаясь колченогой утицей, зашпешила к ним. Оплывшая фигура её в угрожающей позе замерла в дверном проёме, пружинисто напряглись и впаянные в пол ноги-тумбы.

— Шурей, гад! Ты же обещал... — она попыталась урезонить возбуждённых мужиков старательно ровным голосом, — и в ответ тут же прозвучало:

— Всё, тётъ Ир, уходим!.. Всё — полный ажур... Уходим...

И пьяная компания колготной гурьбой вывалилась за порог.

— Собаку-то забыли!.. Собаку!.. — истошно возопила им вслед женщина и спешно вытолкнула в приоткрытую щель собачонку, с нервным испугом бившуюся перед тем в закрытую дверь.

— Слава богу, тихо стало... — запыхавшаяся и раскрасневшаяся буфетчица, тяжело ступая, прошла мимо молчаливо сидящих за столом.

Принесла большой чайник с кипятком. Поставила на стол. Вновь исчезла.

И тут появился вместо неё неведомо откуда и как кот — огромный, чёрной масти, в белой манишке на широкой груди. Он, мягко ступая лапами в белых «ботиках», медленно обошёл вокруг стола и, вспрыгнув на свободный стул, устроился по-хозяйски привычно. Вскинувшись большой головой, осмысленно уставился зелёными глазами на сидящих за столом.

— Садись... садись... компаньоном будешь... — весело разрешил дядя Петя. Поинтересовался: — И как живётся вам, Котофей Иванович?

Кот лениво прищурился и нечто своё промурлыкал в ответ.

— Ну, ясно... ясно... — понимающе согласился с ним улыбающийся почтарь, однако про-

должить доверительно-душевную беседу им не пришлось: появилась буфетчица. На этот раз она принесла ещё один стакан в подстаканнике и большое блюдо с пирогами.

— Васька, чёрт! — увидев вальяжно развалившегося кота, Ирина недовольно зашумела. — Шёл ба отсюда! Брысь!

— Пусть лежит... — вступился за мохнатого соседа почтарь.

— Пускай... если тока не мешат... И я посижу с вами... — она грузно упала на деревянный, скрипуче престоавший под её весом стул. — Угощайтесь вот!.. Пирожки из дому... из ливера... Свиныю зарезали... я лёгкое взяла... пирогов вот напекла... принесла сюда... Всё ж какой-никакой, а привар... А вы берите!.. Ешьте... ешьте... Я угощаю! За ради праздника угощение. — Сама она первой взяла с блюда пирожок и, разломив на кусочки, молча положила перед мелко задрожавшим розовым носом кота. — Завтра ж праздник большой. Вечор пойдём по деревне колядки петь... по избам шуликинами ходить... Я рядиться с детства люблю! Весело!.. — бесцветные глаза её вмиг искристо вспыхнули и в упор, с нескрываемым любопытством вцепились в девочку.

Анюша постаралась незаметно сглотнуть накопившуюся слюнку. Она зорко следила за дядей Петей, успевшим разлить по стаканам духовитый чай и теперь, аккуратно взяв маленький осколок сахара в рот, осторожно, маленькими глоточками отхлёбывал из своего стакана горячий напиток. С блюда он себе ничего не взял.

— На-ка... съешь!.. — Ирина, широко улыбаясь и выбрав пирожок порумянее, протянула девочке. Добавила: — Чё сидишь букой? Испужалась ли, чё? Не бойсь!.. Дядьки пьяные уже не вернутся.

— А ты, Аннушка, ешь... ешь... На меня не смотри... — заметив, что оробевшая спутница его ало вспыхнула жарким румянцем, сказал дядя Петя.

— Пётр Алексеевич, а вы-то... вы-то чё ж не берёте?

— Спасибо, любезная... Спасибо... Только мне и горячего чаю вполне достаточно.

— Ой, это ж я, окаянная, совсем запамятова-

ла, какой сёдня день!... — Ирина укоризненно запричитала и уничтожительным голосом продолжала: — У меня и скоромного-то ничего нетути... Сайка если только... Сичас принесу!.. — она с готовностью подхватила, чтобы убежать, но почтарь успел осадить её:

— Нет-нет!.. садись!.. Право дело: мне ничего не надо... Вот её, голубу мою, — указал он на Анюшу, успевшую живо умять вкусный пирожок и медленно тянущую из стакана горячий чай. — Вот ей подкрепиться следует хорошо — впереди трудная дорожка предстоит...

— Эта-та баскулька не роднёй ли вам будет? — вопрос этот явно мучил женщину давно, и она, сунув Анюше новый пирожок, с открытым любопытством разглядывала её. — Ты ешь... ешь... не стесняйся...

— Не прочь бы я себе такую родню заиметь... — дядя Петя вздохнул глубоко и, выдержав короткую паузу, добавил: — Был бы только несказанно рад... несказанно... Я эту юницу на дороге подобрал... — столь неожиданным сообщением ошеломил он собеседницу.

— Как это?! — испуг в голосе Ирины, перебившей его выкриком, был более чем искренним. — Потерялась ли, чё?!

— Здесь особый случай... — раздумчиво начал почтарь, смотревший на Анюшу ласково добрыми, блеснувшими влажно глазами. — Днём подобрал... Только-только Гамы миновал — вижу: впереди по пустынной дороге движется маленький человечек. Подъезжаю — а это, бог ты мой, дитё... девочка... шагает. Спрашиваю: куда? «К больной мамочке, — говорит, — на курорт иду...»

— В Усть-Качку, чё ль, шла?! Одна?!

— Ну да.

— И откуда ж? Вроде как ненашенская. Нашинских-то я всех знаю...

— Из-за Камы пришла.

— Аж с того берега?! Вот страсть-то! Это кто ж её одну снарядил?

— Вот и я удивился... — и дядя Петя кратенько, но верно и точно поведал оторопевшей буфетчице Ирине, пытливо тарашившейся широко распахнутыми глазами на девочку, про Анюшино путешествие.

— И встретила мамку-то? — не выдержав, обратилась она с вопросом к Анюше, оконча-

тельно смутившейся под её умильным взглядом.

— А как же иначе!.. Встретились... встретились!.. — дядя Петя ответил за девочку. — Вот я её и привёз назад. Как говорится: где взял — туда и вернул. Сейчас чаёк допьём... согреемся... отдохнём... и дальше в путь-дорожку отправимся... Только теперь каждый в свою сторону...

— Да-а... — слезливо протянула Ирина. Спросила в лоб: — Любишь, знать, мамку-то? — И сама же себе, выдохнув вдруг с протяжным полустоном, заметила: — Если б не любила, разве ж пошла б в таку-то даль?.. В потёмках добежит ли? Хоть и не поздно ещё по часам, а тёмно-то как... глухо...

— Думал проводить её и до дому... — извинительно молвил почтарь. — Я и так, и этак прикидывал, только никак не получается: недосуг мне... и так почти не успеваю...

— Может, ей у меня переночевать, а утром засветло и побежит домой... — обратилась Ирина к дяде Пете.

Анюша чай свой допила. Съела еще один, настойчиво впихнутый в руку мягкий пирожок. И теперь, отогревшись, размякла и тихонько, отвлекаясь вниманием от беседующих, начала незаметно заигрывать с ленивым котом. Смысл прозвучавшего предложения она уловила не сразу, а через миг поняв, о чём идёт речь, категорично замотала взлохмаченной головой:

— Не-а!.. не! Я домой пойду!.. Тама бабуля одна... она переживает... ждёт...

Скорое напоминание о доме и бабушке всколыхнуло детскую душу: Анюша подняла испуганные глаза и пристально, в упор, ожидая скорого ответа, глянула на дядю Петю. Тот отлично понял всё:

— Да-да... пора... пора собираться... засиделись мы тут в тепле-то...

— Ой же! ой!.. — умоляюще запричитала неожиданно взволнованным голосом буфетчица Ирина. — Я ж, как увидела вас, Пётр Алексеевич, так возрадовалась... так возрадовалась... Слухом-то прошло: не будете больше почтарить тут. Вот я и бросилась искать! И в церкву, на Слудку, ездила как-то... Цельный день около всё ошивалась... всё сторожила... увидеть

надеялась... А сёдня вы сами объявились... Вот радость!... Вот чё значит слухам-то верить...

— Не слух... правда... Сегодня я, считай, попрощаться заехал. За хлеб-соль поблагодарить... — и почтарь, не скрывая своего недоумения, поспешил уточнить: — Так в чём же причина, что искать меня бросилась? Вроде как ничем не задолжал тебе...

— Какой долг?.. Никакого долга! — Ирина махнула рукой. — Не о том я... Ой, и не знаю, с чего начать... растерялась вот чё-то... — она, заметно разнервничавшись, вдруг зашепелявила. — Я давно всё хотела об этом поговорить... да всё не решалась... стеснялась всё... а надо было уж давно... Чё и тянула? — Приумолкла, но, набравшись смелости, продолжила более решительно: — Это я о Напочке нашей хотела всё поговорить... Она из ваших будет... из рипри... — запнулась, покраснела, однако сумела проговорить трудное слово по слогам: — реп-рес-си-рованых... Женщина по складу своему хорошая... сердобольная... грамотная... Сичас в правлении секретарём работает... Видная... она и в будней одеже как смотрится... Я ручаюсь за неё... — слова женщина произносила сбивчиво, спеша и сглатывая окончания.

— Ты, Ирина, никак сватаешь меня? — дядя Петя, пробираясь сквозь дебри путаных слов, широко улыбнулся. — Зряшное дело ты затеяла — меня сватать.

— Почему зряшное?! — буфетчица заметно оживилась, в голосе появились твердость и напор. — Наново жизнь никогда не поздно начинать. Вы мужчина ещё не старый... Вам бы только бороду сбрить... Не век же, Пётр Алексеевич, одному коротать? Да и женщине без мужа — стужа... Я б сичас сбегала за ей... позвала... Она недалёко на фатере живёт...

— Не надо, душенька, — пригасив улыбку, решительно перебил её почтарь, — никого звать. Спасибо за заботу. Всё это, конечно, трогательно... Только моя жизнь устроена и давно опричь всего этого строится...

— Так ли уж и устроена! — со скорой обидой в голосе заметила сваха. — Ни для кого ведь не секрет, что один вы... ни семьи... ни родни... И у её никого не осталось... Вот я и подумала: уделать вашу совместную жизнь... И чё тут плохого, скажите? — спросила его в лоб.

— Ну... согласен... ничего плохого нет...

— Вот и я о том же! А вам сичас и послабления какие-то есть, и деньжатами вроде как помогают... Кто ж спорит — помочь надо: так пострадали люди безвинно... так пострадали... — запричитала вновь плаксиво.

— Раз попустил мне Господь то пережить, — знать, заслужил... — перебил её дядя Петя усталым голосом.

— Неча всё на Господа Бога сваливать! Нет! Неправильно это! — я считаю... Это ж всё от людей... Скоко их, поганцев-то, среди нас пасётся? Не сосчитать... И от начальств опять же... — она многозначительно выдохнула. И с новой силой принялась за уговоры: — Может, это вас сама судьба свела? Почём вы знаете?

— Ну... все эти разговоры про судьбу, голу-бушка, от лукавого... — дядя Петя попытался возразить.

— Мне неизвестно от кого! От лукавого ли... нет ли... Я и знать не желаю! Я тока точно знаю, что одиноким людям надо приткнуться друг к другу... Что тут плохого — свить своё гнездо? Двоём завсегда легче... вместе и обжиться легче... а с достатком-то и жить спокойней... надёжней жить-то...

— Яко наг, яко благ... — малопонятные слова несговорчивым почтарём были произнесены негромко и сдержанно. — В чём-то, Ирина, ты и права... может быть... Только это не для меня... давно не для меня...

— И чё ж тады такое особое для вас имеется? — ершисто поинтересовалась сваха сникшим голосом.

— Для меня?.. — переспросил дядя Петя, однако ответил не сразу: — Мне дорожка своя нарисована... пройти бы вот только по ней... пройти до конца... не споткнуться... не упасть...

В чайной стало тихо-тихо. Затих даже ленивый кот, только что довольно намурлыкивавший свою раскатистую песнь: Анюша давно перетянула его к себе на колени и ласково поглаживала шелковисто-пушистую шёрстку. И вот всё разом затихло. Замерло в некотором напряжении. Слышно было лишь, как утробно, с подвыванием гудел, потрескивая и взрываясь шутихами, в печи огонь, дожиривший остатки обугленных смолянистых чурок.

Тревожно ноющая мысль, опалив сознание огненной вспышкой, вспыхнула вдруг в сознании девочки и закрепилась через произнесённое буфетчицей странное «будет из ваших... из репрессированных...»

Именно в тот миг Анюша, впервые взглядевшись в человека, чутко опекавшего её целый день, обнаружила, что был он, хотя и с густой окладистой бородой, вовсе не стариком, каким был возникший внезапно сам по себе перед изумлёнными глазами сосед Карташов — ссохшийся, морщинистый и малоподвижный дед.

Смысл слова «репрессированный», если и не совсем точно, был Анюше знаком и был близок к определению «несчастный», означая человека, как говорила бабушка, «без вины виноватого» и много-много лет просидевшего в страшной тюрьме, а потом помилованного — отпущенного на свободу...

* * *

...Однажды рано-рано утром Анюша проснулась под тихий монотонный голос матери, спавшей с ней всегда рядом.

Мама что-то говорила бабушке, но что — девочка, пока выбиралась из пут цепкого сна, не успела разобрать.

— Оно, конечно, одной-то тебе нелегко... — отозвалась бабушка со своего топчана за печкой. — Ну и опеть же: какой человек будет? Сама говоришь — после долгой отсидки он... С бухты-то барахты разве можно?..

Мама ответила не сразу.

Поднялась с постели — пружинная сетка противно скрипнула и качнулась. Села на край кровати. Тщательно поправила одеяло на затаившейся девочке.

— Ну да, репрессирован был... Конечно, с бухты-барахты как?.. — согласилась она со своей матерью и, помолчав чуть, сообщила: — Сёдня вечером в гости позвал... Вот думаю: идти — не идти...

Слышно стало, как зашевелилась бабушка и, с трудом поднявшись с лежачего, зашаркала по полу, остановилась напротив дочери:

— В гости звал?.. Дак чё, сходи... Приглядись...

Весь день, показавшийся девочке невероят-

но долгим и длинным, Анюша зорко следила за матерью. Неотступной тенью следовала за ней. Даже на улице, где жарко светило солнце и где целыми днями бушевала рай-свобода, не убегала. Выскочит, чаще следом за матерью, во двор, где потопчется-потопчется возле крыльца, — и снова нырнёт в избу в тревоге: вдруг мама ушла как-нибудь незаметно.

О том, что мама определённо решила вечером куда-то пойти, говорило многое в её действиях, причём действиях совершенно непривычных и незнакомых для девочки. С утра вымыла голову, накрутила на мокрые волосы большое полотенце. Потом нарвала из старой тряпицы много узких ленточек, кривыми квадратиками порезала старую газету и показала Анюше, как из этого всего плотными жгутами скатывать, как сказала, папильотки. Девочка старательно и ловко делала те самые папильотки, а мама накручивала на них тонкими прядками свои волосы. Затем мама вынула из шкафа единственное своё нарядное платье из крепдешина в красивых цветочках по кремовому полю и, хотя платье вовсе не было мятым, медленно и тщательно разглаживала его тяжёлым утюгом на столе.

Анюша видела, как мама часто, задумавшись о чём-то, пристально, словно высматривая кого-то или что-то, немигающими глазами устремлялась в законную даль. И дочка тоже смотрела в окно, но там ничего, кроме голубого, бездонного, без единого облачка неба не видела, — а мама вздыхала, отводила взгляд, следом и Анюша тоже украдкой вздыхала...

Уже в платье мама у зеркала, висевшего на стене, стала медленно раскручивать плотные коконы папильоток. Волосы, распушившись мелкими локонами, упали на плечи. И всё это очень и очень, до замиранья маленького сердца восхитило Анюшу. Она ещё никогда-никогда не видела свою маму такой необыкновенной... такой самой-самой красивой на всем белом свете...

Мама, придирчивым взглядом всматривавшаяся в свое отражение в зеркале, вдруг весело и залиристо засмеялась, как девчонка, и быстро-быстро стала раскручивать свои пушистые кудри. Побрызгает на волосы водой и чешет-чешет, старательно вытягивая по пря-

мой вниз густым гребнем. Когда тех кудряшек почти не стало, мама стянула волосы во всегдашний пучок на затылке и только тогда, посмотрев вновь в зеркало, осталась весьма довольна собой, а девочка чуть было не зарыдала в голос от обиды: ей невероятно жалко было той исчезнувшей красоты. Расплакаться, однако, не успела. Случилось невероятное.

Мама, подзвав к себе дочь, принялась тщательно причёсывать и её. Вплела в короткие косицы ленты из алого атласа, завязала их большими бантами. Потом и новое платье, сшитое совсем-совсем недавно ею самой, надела на Анюшу. И, отступив на шаг назад, залюбовалась зардевшейся от неожиданного счастья любимой дочкой. Бабушка сидела рядом на стуле и тоже любовалась внучкой, радостно закружившейся перед ней в яркой обновке.

Нарядные, весёлые и довольные собой они пошли в Крым. Крымом — если же точнее, то Крымским, — звался заводской посёлок километрах в трёх от их деревни. В посёлке был детсад, куда Анюша ходила целый год перед школой, да и сама школа, куда девочка пойдёт первого сентября и где мама работала буфетчицей, тоже была там.

— А репсирован — это как? — на всякий случай Анюша, успевшая днём попытать бабушку, спросила у мамы, когда посёлок замаячил впереди.

— Репрессирован? — с нескрываемым удивлением в голосе переспросила мама. — Это... — и запнулась. Видимо, не знала, как точно и верно объяснить маленькому ребёнку не столько само слово, сколько горькую суть его. — Это... когда люди по чьёму-то навету... — снова в растерянности замолчала, однако скоро продолжила: — Это когда какой-нибудь злодей мог хорошего человека взять да и упекнуть ни за что ни про что...

— Как упекнуть?! Куда?! — поспешила уточнить Анюша, только мама, с усилием сдерживая внезапные слёзы, лишь слабо махнула рукой:

— Лучше этого, дочка, и не знать... вырастёшь — поймёшь... — только и смогла сказать.

— А бабуля сказала, что это люди такие — без вины виноватые...

— Так-то оно чаще всего и было...

Больше мама не произнесла ни слова, а Анюша, тишком наблюдавшая за ней, заметила, как она спешно смахнула с лица всё-таки набежавшие слёзы...

* * *

— ...Знать, верно мне тады у церкви сторожика ваша обсказала обо всё, чтоб не искала я вас... — Ирина нарушила напряжённую тишину в чайной первой. — Он, мол, скоро в монастырь отъезжат. Я удивилась: какой такой монастырь? Разве у нас, в сэсэсэре, они есть? Я ж ведь ни разу об их не слыхала, а она мне: есть... и даже место назвала... Только я запомнила... Всё-то упомнишь ли? Так это, Пётр Алексеевич, правда ли, чё, будет?

Не ответил он. Долгим взглядом устремился в заоконную мертвенно-тихую глушь, где, прорезая кромешное месиво, вырели крупные звёзды и, искристо мерцаая, тонкими серебряными нитями приникали к заиндевелым стёклам, где лёгкий ветер-снеговой пригоршнями рассыпал снежную пыль.

— Что это за имя такое — Напочка? — неожиданно, не оборачиваясь лицом, отчетливо и громко поинтересовался почтарь.

— От Настасьи будет... — обрадованно ответила сваха.

— От Анастасии?

— Ну да!.. ну да!.. — буфетчица зачастила возбуждённой скороговоркой. — У нас-то так-то же не зовут... Я раньше и не встречала... а она сказывает, что у их на родине так часто величают... А вот из какой местности будет — я и не знаю... — засокрушалась извинительно.

— Надо же... никогда и не знал... Это сколько ж открытий чудных у меня сегодня было! — дядя Петя, мимолётно глянув на Анюшу, умолк и снова устремился отсутствующим взором в окно, где чутко сторожила ледяная луна ночную улицу, а девочка, украдкой следившая за взрослыми, невольно вслушиваясь в их затяжной разговор и верно осознавая всё то, что произошло сейчас, внезапно вспомнила, каким именем звали дяди-Петину жену. — Анной Савельевной... — Аннушкой... жёнушку мою дорожую... единственную мою звали... —

ровно потянув за ниточку чужую угаданную мысль, задумчиво произнёс седовласый, замечто ссутулившийся человек.

Скоро дядя Петя и Анюша вышли из чайной на улицу.

Ночь, властно и уверенно хозяйничая повсюду, сторожко стерегла отвоёванные на срок огромные остывшие владения.

Почтарь отвязал от заиндевелого столба умявшую без остатка пристывшее сено лошаадь. Развернув, потянул её за повод, и застоявшаяся на холоде животиная, всем своим видом показывая, что готова мгновенно, разгоняя рысистым бегом стужу и мраз, сорваться с места в карьер, радостно фыркнула и резко дёрнула полозьями вмёрзшие в снег сани.

— Но-о!.. но!.. стой!.. стой!.. стой!.. — легонько осадил возбуждённую лошаадь кучер. — Не спеши!.. не спеши... сейчас... сейчас, милая... — И нежно похлопал её по вздыбившейся щетиной холке.

Буфетчица появилась следом.

Долго возилась в темноте с дверным замком. Громяхая холодной железкой, ворчливо что-то невнятное бурчала себе под нос. Наконец с замком справилась и, неся грузное тело в тяжёлых одеждах, с трудом спустилась с высокого обледенелого крыльца. Криволапой утицей добрела до Анюши, стоявшей посреди двора.

Девочка, вдыхая на воле морозный воздух и опрокинув в небо лицо, восхищённым взором устремилась ввысь, где, образуя причудливые узоры, кружили в ясном небе серебристо-искристые звёзды.

И женщина тоже вскинулась круглым рыхлым лицом в небо.

— Эка!.. ужась какой!.. Звёзд-то!.. звёзд сколько выбежало!.. Пряма кипят... кипят... — протянула сорвавшимся на морозе голосом, однако, прокашлявшись надсадно, закончила более ровно: — А красиво-то как!.. красиво... ажно душа сомлела...

— Верно, всякое дыхание да хвалит Господа! — дядя Петя стоял уже рядом с ними и тоже зачарованно смотрел вверх. — Красота Божественная — вот душа и отзывается.

Меж тем Ирина, никак не отозвавшись на последние слова почтаря, с вызывающе демонстрируемым усердием начала прове-

рять, как одета девочка и, подтянув покрепче концы большого платка, торчавшие пропеллером за спиной, заботливо обратилась к ней:

— Пойдём-ка сейчас ко мне... переспшишь ночь, а утром посветлу и побежишь... — Анюша с испугом в округлившись глазах отрицательно замотала основательно укутанной головой. Ирина продолжила плаксивым тоном: — Как одна-то и пойдёшь через Каму?.. Ветер на реке-то ужась какой — бр-р!.. тёмно... страшно...

— Ты ребёнка не пугай! Не надо!.. Добежит! Ещё как добежит! — твёрдым строгим голосом первым отозвался дядя Петя. — Своя сила в руках у каждого, и это дитё уже доказало, что любовь непритворна и многое может преодолеть... Любовь и вера... Беги-беги, девочка, и не бойся! Ничего не бойся!.. Сам Господь Бог этой светлой ночью тебе Поводырём. Да и все святые в помощь тебе, Аннушка... — Неожиданно, взмахнув рукой, почтарь положил поверх пальто на грудь Анюше широкий крест и, указав ввысь, где лебяжьем полотном вызел дымно-прозрачный Млечный путь, сказал: — Божия дорога светит светло над тобой, и у тебя своя Божия дорожка... — и он размашисто перекрестил тёмную улицу, по которой предстояло скоро пройти девочке, и быстро сел в сани.

Лошаадь вмиг без команды дёрнула пристывший заскрипевший возок. И последнее, что успел выкрикнуть им почтарь, было:

— С Богом, свет-Аннушка!.. С Богом!.. А ты, Ирина, прости, если обидел...

Любка вывернула со двора на проезжую дорогу и, стремительно набирая ход, радостно рванула вперёд — и санная повозка вмиг исчезла в ночи.

— Тоже мне нашёлся монах... — то ли с отчаянной злобой, то ли с не менее отчаянной неотпускаемой обидой недовольным полушёпотом прошипела буфетчица вслед исчезнувшим саням. — Монах... в драных штанах... И куда?! Не старик же ещё? «Прости... если обидел...» — тем же полушёпотом передразнила уехавшего почтаря. Изрекла гнусливо: — Обидел... обидел... ещё как обидел... Оно, конечно, одинокую женщину разве кто пожалеет?.. Наоборот — кажный норовит обидеть... — зашмыгала носом, но не унималась: — И на кой

ляд связалась я с этим сватовством?... Вот и мне осталось токо усестися да укатить... куда подалеже ото всех... — Ирина машинально смахнула пушистой варежкой нескрываемые обильные слёзы с лица. Шагнула вперёд: — Пойдём... Чё стоять тут? — не тая своего раздражения, позвала девочку. — Провожу чуть...

Они осторожно в молчании зашагали по ночной улице, выщербленной перебегающими тенями от дымящейся на морозе луны. Было тихо и безлюдно. Изредка лишь взлаивали неуверенно попрятавшиеся по глухим дворам собаки.

Женщина, продолжая обидчиво всхлипывать, шла впереди. Шла еле-еле. Она с трудом, буровя большими валенками снег, переставляла огузные ноги. Стреноженным шагом тащиась за ней Анюша.

Шли, казалось, долго, но прошли всего ничего. Скоро у одной из ближайших изб, в окнах которой слабо брезжил скупо реюший сквозь запурженные стёкла желтушный свет, Ирина остановилась и, выдохнув как-то особенно тяжело, пробурчала тускло:

— Дальше не пойду. Я — к Напочке... а ты давай одна теперя бежи... — и она, преодолевая себя, потянулась к низкому окошку и костяшками согнутых в кулак оголённых пальцев отбила настойчивую дробь по обледенелому стеклу.

На стук в окне показалось насторожённое лицо черноволосой женщины, с удивлением поглядевшей сквозь стёкла вначале на девочку и только затем выразительно указавшей тонкой рукой в сторону ворот. Буфетчица потащиась к воротам с врезанной в одно из дощатых полотен узкой дверцей.

Девочки Ирина больше не замечала, и Анюша, обретя чаемую свободу, вольно припустила по деревенской улице, вытянувшейся по высокому берегу вдоль укывшейся в густой темноте реки.

Всё так же повсюду было безлюдно и пустынно. Желтушными квадратными глазищами каждый из домов, минувших ею, прилипчиво таранился в пробегающую мимо быстрым шагом позднюю путницу, да редко-редко со дворов раздавалось слабое и немощное «гав-гав!..»

Только ничего из этого уже не замечала девочка, вспоминая всё то, что промелькнуло в её нечаянно потревоженной памяти там, в чайной, когда настойчивая сваха упрямо приставала к почтарю. И тем навязчивым сватовством, искренне, не по-детски встревожив, перепугала Анюшу, потому как она очень-очень не хотела, чтобы дядя Петя, женившись, вдруг бы умер...

* * *

На подходе к заводскому общежитию, как отчётливо вспомнилось девочке, мама сказала:

— Ты, доченька, того... дядьку-то не бойся... Его Анатолием зовут... Анатолий Львович, значит... Тебе можно «дядя Толя»... — Потянув на себя ушастую ручку входной двери, мама негромко добавила: — Мы с тобой чуть-чуть посидим... для приличия... и домой пойдём... засиживаться не станем...

Они вошли в небольшое, плохо освещённое фойе, где у широкой деревянной лестницы, ведущей на второй этаж, в одиночестве стоял мужчина. Увидев вошедших, он быстрым нервным шагом устремился навстречу.

— Здравствуй... те... — сказал мужчина, с недоумением вперившись блёклыми ледяными глазами в Анюшу, вынырнувшую из-за маминной спины. — Думал, уж не придёшь ... — бросил мужчина маме.

— Нет... Зачем?... Обещалась же... Пришли вот... Здравьете, Анатолий... Львович... — робко выдавила из себя заметно растерявшаяся женщина и, легонько подтолкнув промолчавшую дочь, прошептала: — Поздоровайся...

Однако девочка, насупившись, стойко продолжала молчать.

— Хорошо-хорошо... хорошо, что пришла... — Анатолий Львович, резко развернувшись к ним спиной и успев бросить через плечо: — Иди за мной!.. — стал стремительно подниматься по лестнице.

Мама осторожно ступила на нижнюю ступеньку и, цепко ухватив дочку за руку, стала подниматься следом. За собой она тянула недовольно пыхтевшую и упрямо сопротивляющуюся Анюшу.

Они оказались в просторной комнате с ря-

дом высоких окон и двустворчатой застеклённой дверью на узкий, вытянувшийся вдоль стены балкон.

Как в спальне детсадика, здесь тесно стояли кровати, заправленные одинаковыми тусклого цвета одеялами и с одинаковыми же окрашенными явно очень-очень давно голубым высокими тумбочками у изголовья каждой. Были и какие-то люди, разглядеть которых девочка не успела: с их приходом все незаметно исчезли, словно сами по себе растворились в погустевшем к вечеру воздухе.

Остались одни. Втроём.

Мама с Анюшей, никак не отреагировав на предложение хозяина проходить, топтались у порога.

— Проходите... проходите!.. Не стойте там!.. — настойчиво позвал гостей Анатолий Львович, суетившийся вокруг стола, стоявшего посреди комнаты и застеленного плотной клеёнкой в синюю ядовитую клетку.

На столе, минуту назад ещё пустом, появились тарелки со скромным угощением, вазочка из толстого стекла с сухим печеньем и карамельками, высокие рифлёные стаканы с глубокими блюдцами.

— Вот пожалте... Чем, как говорится, богаты... Прошу!.. — Анатолий Львович, указав на отодвинутый им от стола стул, вежливо пригласил застывших у дверей. Сам же метнулся к плитке, упрятанной на полу в углу: там шумно закипал чайник.

Вкрадчивым нерешительным шагом мама направилась к столу, осторожно села на предложенный стул. Анюша, не отступая, шла за ней след в след. Садиться на определённый ей стул девочка не стала — накрепко пристыла к матери.

Анатолий Львович поставил давно потерявший изначальный цвет чайник на стол.

— А ты чего стоишь? — обратился к чужому ребёнку. — Садись...

Анюша, однако, не села: всё так же смотрела на «дядьку» исподлобья по-птичьи округлившимися, насторожёнными глазами и впритык жалась к матери, попытавшейся было бережно оттолкнуть прилипшую дочь от себя:

— Анюшенька, рядом садись... — она подтянула свободный стул поближе к себе и проси-

тельно, заискивающим голосом предложила: — На вот чай тебе... А конфетку будешь? — и, переставив на новое место стакан с горячим чаем, который успел предупредительно разлить «дядька», потянулась рукой к вазочке.

Сосалки-карамельки Анюша любила и даже очень, но сейчас предложенную конфетку взяла нехотя и, припав к уху матери, тихо-тихо зашептала:

— А можно я чуточку постою на балконе?

— Это надо у дяди Толи спросить... — так же очень-очень тихонько ответила ей мать.

— Иди... иди... — с ходу разрешил чутко уловивший всё, что произносилось шёпотом, Анатолий Львович.

Девочка боязливо, с замиранием встревоженного сердца шагнула на балкон, узким козырьком нависающий над крыльцом, и, старательно приподнявшись на цыпочках, с опаской глянула вниз, где по периметру здания длинной опояской тянулась кустисто разросшаяся жёлтая акация.

— Анюша! Осторожней!.. — испуганно выкрикнула мать, нахолившейся наседкой зорко следившая за дочерью и готовая тут же броситься на помощь. — Не дай бог ещё свалишься!..

— Никуда не свалится... Сиди! — резким командным окриком осадил её мужчина: женщина покорно осталась сидеть за столом.

Анюша была на балконе одна.

Свесив голову вниз, она с любопытством смотрела на улицу, где толпились праздные люди. Чужие и незнакомые «дядьки». Все они курили. Громко говорили. Грубо смеялись. Досужее рассеянное внимание вскоре отвлек металлический грохот. Ритмичный и монотонный, всё нарастающий и нарастающий. Девочка вскинулась обозреть округу, развернувшуюся перед ней с высоты второго этажа. Напротив, где ровной чёрной стеной высился лес, тянулась железнодорожная колея, по которой маленький, словно игрушечный, паровозик, громыхая чугунными колёсами, густо дымя широкой трубой и протяжной маслянистой фистулой испарывая вечернюю синеву, споро тащил по блёстким рельсам цепочку из нескольких грязно-жёлтых цистерн.

Короткий поездок прогремел мимо и, убывающий глухим эхом, быстро исчез с глаз.

Анюша вернулась в комнату. Плотно прикрыла за собой дверь. Подошла к матери.

— Там хлорку повезли... — тревожно сообщила девочка и тем оборвала беседу двух взрослых людей, каждый из которых сидел перед своим непочатым чайным стаканом.

— Смотри-ка, смышлёная... — то ли с искренним удивлением, то ли со старательно утаиваемой иронией произнёс Анатолий Львович.

— Смышлёная... да... — радостно согласилась мать, притянувшая к себе любимого ребёнка. И тем же довольным голосом сообщила: — Осенью в школу пойдёт... Считать уже умеет хорошо...

— Откуда про хлор знаешь? — поинтересовался сухо у девочки мужчина, никак не отреагировав на последние слова матери.

— Кто ж про него не знает?! — вопросом на вопрос ответила за дочь женщина. Продолжила: — С заводом рядом живём... Когда хлор перекачивают, утечки бывают... а мы и дышим потом белым воздухом... задыхаемся...

— Он такой вонький ещё... — еле-еле слышно вставила своё Анюша. Протянула следом просительно: — Я домой хочу... Ты говорила, недолго... Пошли!

— Да-да!.. Идём-идём!.. — подхватила мать. Живо подскочила со стула: — Спасибо за угощение... Пора нам...

— Пора так пора... — тусклым безразличным голосом отозвался Анатолий Львович и тоже вышел из-за стола, угощение на котором так и осталось нетронутым.

В напряжённом молчании вышли на улицу, где густели поздние сумерки и в воздушном оперенье из белого пуха показалась полная луна.

Анюша смело сбежала с крыльца, на котором задержались взрослые. Её скорой целью была ближайшая акация, щедро усыпанная гроздочками из зелёных стручков. Теми стручками вмиг были плотно набиты оба кармашка нарядного платья.

Довольная запасами девочка вернулась к матери, когда та с уклончивыми словами:

— Нет-нет!.. Что вы! Нас не надо провожать... — сходилась с крыльца.

Анатолий Львович, дядя Толя, остался сто-

ять на прежнем месте. А мать и дочь стремительно свернули за угол дощатого двухэтажного здания и, почти бегом преодолев затенённую высокими елями окраинную поселковую улицу, устремились в родную сторону.

И только тут мама, заметно сбавив шаг и отдышавшись, спокойно пошла по дороге. За ней успокоилась и Анюша, сердце которой перед тем учащенной дробью билось в маленькой груди от пугающей мысли: вдруг «дядька» догонит их?..

Успокоившись, она вытянула из кармашка зелёный маленький стручок и попыталась соорудить из него свистульку. Только из этой затеи у неё ничего не получалось: раз за разом очищенный от мелких бобочек стручок распадался на две створки.

— Дай-ка мне! — искоса наблюдавшая за безуспешными стараниями дочки, перехватила у неё из руки очередной стручок и ловко на глазах изумлённого ребёнка сделала свистульку.

Попробовала — свистит! Протянула Анюше. Девочка бережно поднесла хрупкую дудочку ко рту: звук получился осторожный, сбивчивый. Меж тем мама, вытянув из дочкиных кармашков ещё один стручок, быстро сделала новую свистульку — и сама вдруг звонко и переливчато засвистела. Даже в такт стала приплясывать. Только дудочка её напора не выдержала и рассыпалась на укороченные половинки.

Вздурораженная маминым концертом, Анюша спешно протянула ей целый стручок:

— На! Ещё, мамуль!.. Ещё посвисти!..

Только свистеть больше мама не стала.

— Вот, Анюшка, и сходилась твоя мамка вза-муж!.. — насмешливо произнесла она негромко и, крепко обняв дочь, легко приподняла над землёй и быстро закружила в упоительно-плавном воздухе, а девочка, задыхаясь от счастья и взвизгивая от восторга, болтала ногами и залиvisto, взалёб смеялась и смеялась.

Домой мать и дочь пришли, когда уже плотно стемнело.

Расточая последние остатки летнего тепла, спустилась на землю августовская ночь. Высыпали в высоком небе звёзды. Пустились по бархатному безбрежному полю вразбег, высвобож-

дая широкие прогалы для брезга слабых звёзд, проглядывающих из дали дальней сквозь кисею дымчатой вуали. С радостным замиранием маленького сердца смотрела Анюша ввысь, где, указывая пути-дорожки небесные, в лунном свете мерцали звёзды и манили яркими всполохами щедрога звездопада.

Тихо вошли в дом.

Бабушка не спала. Ждала. Лежала на своём топчане в темноте и, как только отворилась дверь в дом, шумно подхватила, чтобы встать.

— Лежи! Лежи!.. — мама, щёлкнув выключателем при входе, успела остановить её.

— Ишь-то будет?! — бабушка не поднялась, но спросила. Сообщила: — На столе всё стоит...

— Найдём!.. — громко ответила ей дочь.

Через минуту-другую Анюша за обе щеки уминала всё то простенькое, но сытное и вкусное, что было старательно приготовлено для них бабушкой.

Мама почти ничего не ела: так, поклевала птичкой чуть-чуть, но сторожко следила за тем, как ест дочка. С едой девочка справилась быстро и скоро была отправлена спать.

Прибрав на столе и выключив свет в кухне, мама тихо прошла в закуток, где присела на край бабушкиной постели, и начала в подробностях свой отчёт о том, как они с дочерью сходили в гости.

Говорила мама негромко, и девочка, сколь ни напрягала слух и внимание, услышать из того рассказа так ничего и не сумела. Зато бабушка вдруг громко, на всю избу высказалась ободряюще:

— Так-то оно и лучше... Жили, доча, одни стоко и ишшо проживём...

Мама продолжала что-то рассказывать, когда до угасающего слуха девочки, засыпавшей со счастливой улыбкой на лице, долетело то последнее, что было произнесено бабушкой снова громко — произнесено с нескрываемым возмущением и недовольством в дребезжащем голосе:

— Вот ишшо как! Робёнок ему лишним будет!.. Ишь чё выдумал!..

Всё то произошло летом. В августе. И скоро благополучно забылось. Только однажды зи-

мой, совершенно случайно, дядя Толя напомнил о себе.

Анюша и мама возвращались из Закамска. Был поздний-поздний вечер, и они, засидевшись у давней маминой подруги, спешили на рейсовый автобус, чтобы уехать домой.

Заснеженные, затопленные ночной мглой улицы отдалённого района Перми, разделённого Камой и лесами от центральной части областного города, скупо освещались редкими фонарями. Тихо и малоллюдно было повсюду. Далеко впереди, вынырнув из густой морозной тьмы, в ярком конусе света выпукло высветилась спешащая им навстречу парочка.

Женщина, которую бережно под ручку вёл мужчина, была в красивом пальто в талию, с огромным воротником из искристой чернубурки. К груди она прижимала узкую лаковую сумочку. Мужчина был одет в длинное демисезонное пальто и меховую шапку-пилотку.

Они шли быстрым летящим шагом, одновременно и слаженно, в такт, выбрасывая вперёд то одну ногу, то другую: она, словно демонстрируя свои коричневые ботинки на венском каблучке, с меховой опушкой по шиколотке; он, по-армейски старательно вытягивая нагугалиненные мыски чёрных туфель, выглядывавших из-под манжет широких брючин.

Прохожие стремительно приближались к ним. Женщина не бросила в их сторону даже и беглого отстранённого взгляда. Она гордо несла свою головку в маленькой шляпке из чёрного каракуля с наброшенной поверх белой кружевной шалькой, а мужчина успел издали зацепиться острым удивлённым взглядом, — и они моментально разминулись.

Анюша, до мельчайших подробностей чётко высмотревшая чужую «тётю», знала, что у её мамы нет ни такого огромного пушистого воротника, ни таких красивых ботиночек, нет и такой манерной шляпки с кружевной паутинкой из оренбургского пуха... Никогда не было и такой лаковой сумочки...

Девочка глубоко выдохнула и теснее прижалась к матери, поинтересовавшейся у дочки шёпотом:

— Дядьку-то узнала?..

И Анюша соврала маме. Соврала впервые.

— Не-а... — покачала она отрицательно голо-

вой и даже оглянулась вслед исчезнувшим в непроглядной тьме тем двоим. И, как будто ничего не понимая, спросила уточняюще: — Какого дядьку?..

Мама, однако, не ответила. Промолчала. За-молчала и Анюша. Так, в молчании, они скоро и ехали в маленьком, плотно набитом людьми пузатом автобусике.

Прошла долгая зима. Как-то по весне мама, когда после бани тщательно расчесав бабушкины седые волосы, плела ей тоненькую косицу, а другую неумело, но старательно выплетала внучка, внезапно спросила:

— Помнишь ли, мам, летнего ухаживателя? — и, не ожидая утвердительного ответа, продолжила сдавленным голосом: — Помер он... Женился зимой — и помер скоро... И пожить по-людски не успел...

Из Анюшиных рук она перехватила путаную, в лохматушках вторую косицу, быстро-быстро переплела её.

— Уберёг, знать, нас Господь Бог... — только и сказала на то бабушка. Затем, проверив рукой тщательно прибранную голову с косицами вперехлест и повязав поверх кипенно-белый платок, перекрестилась мелко и добавила: — Царство ему Небесное... Анатољем, кажись, звался?..

— Анатолий... да... — близким эхом повторила за ней взрослая дочь.

* * *

И, хотя Анюша тогда не всё поняла из того, что проговорилось бабушкой, однако теперь, зимней ночью, когда она, сбегая вниз к реке, вновь вспомнила давнюю историю бабушкины слова: «Уберёг Господь Бог...» — отчетливо услышались ею. И вновь, как то и было пережито ею уже в чайной, искренне обрадовалась девочка тому, что дядя Петя не согласился жениться.

Вскинулась девочка быстрым взглядом вдаль: берег на той стороне, где была родная деревня, утонул в тёмно-синей крошечной мгле. Заметно потемнело и вокруг. Дымные ходкие облака, покинув студёное лежбище северных низов, широким опашнем накрыли

круговитую чашу, опрокинутую над морозной землёй, и луна, совсем ещё недавно яркая и большая, запуталась в тенётах летучих клокастых туч и исчезла с небосвода.

Туманилось стылое пространство метельными вздымами. Подгоняемый неумным ветровым духом, раньше срока вырвался полуночник-вихрь из стариковой дерюжной сумы-сумищи и, сбиваясь за раздольную вотчину в дикой схватке с ветром навальным, прижимистым, отмеряющим версты от берега к берегу, спесивым барином-боярином в буйной радости пустился в лихой разухабистый удал-загул.

Ступила Анюша на хорошо утоптанную днём тропу, а к ночи вязко запорошённую в густой накат. И тут же, завывая свистящей фистулой и сшибая с ног, стремительными рывками налетел предательски пронизывающий ветер, что, обещая ранее новую встречу, таился до срока в долгой засаде, где ждал-сторожил этого мига и где вызревала-копилась его злая сила-силушка.

Приуныло спрятанное в быстрых пепельно-сизых тучах небо. В плотный ком сбивалась темень ночи: вот-вот и укроет сплошным пологом-навесом, задушит глухой студёной жуть-мглой...

Только не успела обморочно съезжить в страхе и ужасе трепетная душа девочки: прямо на глазах тяжёлый опашень, небрежно накинутый на небесную камору, обветшал вмиг и рассыпался в прах: вырвалась из дымных нетей пленённая на короткий срок луна и, отливая тонким свет-серебром, щедро осветила всё вокруг. Наново преобразился мир!

Живым покровом раскинулась в небесах за-таившаяся в напряжённом ожидании вселенная, где Великий Звёздочёт вёл счёт-пересчёт большим и малым дымящимся по закрайкам звёздам и где текучей волшебной рекой, сплетая туманные млечные воды в серебристо-блистающие пряди, струился Снежный Белый Путь.

Очистилось глубокое звёздно-кипящее небо, и упали, утихли шквальные, беснующиеся у самых ног вихри-ветра, а ближнее пространство, светящееся, сухое и морозное, вытянулось торной колеёй, высланной синим хрустким полотном, — и зеркальным отражением

опустилась на то полотно Небесная Дорога и сказочной путь-дорожкой потянулась к противоположному берегу через закованную в ледяной щит-панцирь Каму-реку.

Не пугал больше погибельный снеговой, демонстрирующий свою злую удаль на стороне, где тёмно и глухо; не пугало и вытянувшееся вдаль и провалившееся в снежных стланиях расстояние, которое предстояло преодолеть.

И метельные вздымы, и вихревые пляски, и свистящая, воющая жуть-какофония — всё это жило, буйствовало и злилось в отдалении, видимое словно сквозь задымленные снежной пылью стёкла, и уже никак не касалось самой Анюши, смело зашагавшей по высвеченной луной тропе.

Ничего не замечалось очарованной поднебесной красотой девочкой: об одном только и мечталось — высмотреть бы в выси далёкой, выси глубокой гору неприступную, заоблачную, — гору стеклянную, на которой стоит всем теремам терем и, как говорила бабуля, живёт в том тереме сам Господь Бог.

Стоит терем на огромных столбах; столбы все из хрусталя звонкого, хрусталя горного, как капля воды родниковой чистого и прозрачного. И день-ночь горят-пылают широкие оконца терема огнём-золотом. Все просторные палаты залиты светом светлым, лучезарным, и пышно цветёт вокруг терема райский сад, и поют там весело, заливаются радостно-торжественной трелью ярко-пёстрые голосистые птицы...

Раз за разом, всматриваясь в далёкую высь быстрым нетерпеливым взором, ожидала Анюша, что вот-вот и увидит тот чудный терем, вот-вот и высмотрит небесную тайну...

И небо откликнулось! Прочертив по бархатному своду небесного шатра пунктирную дорожку, вспыхнула ярким фонариком одиночная звёздочка-звезда, — и, подхваченная невидимой рукой, тихо опустилась низко к земле, и, выбросив серебряные нити-вожжички, заботливым стражем-поводырём поплыла вблизи.

Не сама по себе двигалась путеводная звезда: бережно держа на весу искрящийся голубым серебром фонарик, рядом с девочкой, раскинув белоснежные крылья, летел в морозном

воздухе лёгкий златокудрый ангел — посланник Божий.

Хотя Анюша определённо ничего не видела, она, чутко ощущая нечто и обрадовавшись звезде-фонарику, как существу живому и близкому, с благодарной радостью в пристывшем голосе приветственно выкрикнула вспомнившееся слово:

— Зирка! Зирка!

Не осознавая до конца разумом всего того, что происходит вокруг неё, девочка, однако, давно ясно осознала доверчивым сердцем чьё-то явное присутствие рядом с собой. Кто-то невидимый и неосязаемый, но добрый-добрый, чутко оберегая её, утишил и умиротворил не только всё вокруг. Он утишил и умиротворил и самого ребёнка: на душе девочки стало необыкновенно покойно, ровно и последние остатки притаившегося в глубинах сознания страха окончательно улетучились. Душа пела и ликовала!

Анюша совсем не заметила, как легко и быстро дошагала до желанного берега; так же легко и быстро добежала она и до родной деревни: усталое внимание мало что фиксировало.

И первое, что увидела она, переступив порог дома, была маленькая иконка, с которой на девочку очень пристально и ласково смотрела Богородица, прижимавшая к своей груди Младенчика.

Обычно угол над кухонным столом, где на узкой божничке хранилось несколько старых бумажных иконок, был плотно прикрыт тюлевой шторкой, а сейчас занавесь была широко откинута, и все святые с икон встретили вошедшую прямым внимательным взглядом, а бабушка, сумрачно потемневшая лицом и заметно осунувшаяся за прошедший день, обрадованно засуетилась около внучки:

— Ах, ты моя хорошая... вот и пришла!.. Вот и привёл Осподь Бог моё дитячко домой... Дай!.. дай подмогну... Чисто ить умаялась...

Баба Настя спешила помочь девочке: прямыми пальцами с трудом развязала стянутый тугим узлом на спине толстый платок; стянула с уставших ног ладно подшитые, задубевшие на морозе катанки. Расстегнула пальто, сняла

с головы шапку и всё в голос ругала себя, корила, однако, не сумев справиться со своим острым любопытством, наконец раздумавшись и просветлев лицом, осторожно спросила про дочь:

— А Дуся-то как?.. Как мать-то?..

И девочка, перескакивая с одного на другое, с пятого — на десятое, начала свою длинную повесть: часто путалась, сбивалась, что-то пыталась рассказать в самых, как ей казалось, важных подробностях; что-то, наоборот, упоминалось ею лишь вскользь, но главное — Анюша успела рассказать про дядю Петю, и прежде всего счастливым голосом сообщила, что он вовсе не согласился жениться на той тёте Напочке, а бабуля, проговорив довольным голосом:

— Вот ить как хорошо: доспелось тебе стретить доброго человека... — Потом всё крестилась, крестилась, и всякий раз, старательно укладывая крест на маленькой груди, шептала еле-еле слышно, вовсе никак не отреагировав на слова о неведомой Напочке: — Господь Милостив... Милостив Господь...

Как долгожданную почётную гостью, усадила бабушка внуку за прибранный празднично стол. Потчевала хлебосольно, настойчиво уговаривая съесть и то, и это, — и девочка охотно ела.

Смотрела на заметно утомившегося, притихшего ребёнка старуха влажными тусклыми глазами, вздыхала глубоко, но, вспомнив нечто для неё особенно важное, а то и просто желая непременно что-то уточнить, с пристрастием по кругу вновь и вновь невольно пыталась путешественницу вопросами.

Отвечать Анюша уже не спешила: сон безгрешный, сон блаженный давно поджидал её. Сознание затухало, путалось и вязло в белёсом тумане, а глаза закрывала плотная дым-поволока, — и только чувство пережитой радости не покидало: с ним девочка и уснула.

Сном улетучился долгий день... Улетучился сном сочельник... святой сочельник...

Утихло всё в доме. Уснуло. Одно только улавливалось слабым слухом в плотной тишине — как спешат-трудятся неугомонные часы-ходики на стене: тик-так... тик-так...

И заглядывала в заиндевелые окна светлая

звёздная ночь, всклень наполненная лунной синь-водой.

Анюша широко раскрыла глаза. Прислушалась напряжённо и, чутко уловив вне нечто особенное, подхватила и вмиг, как была в одной рубашонке, молнией устремила к выходу.

Сама собой беззвучно открылась перед ней дверь и пропустила в тёмные сенцы. Шагнула в чёрный провал и оказалась стоящей на крыльце. Вокруг было светло и просторно, точно днём. Не успела девочка оглядеться, как увидела, что прямо на неё падает-летит с неба голубая звезда. И только-только успела протянуть навстречу руку — небесный светлячок, радуя живым светом, невесомым листом лёг на ладошку.

Замерло от изумления и восхищения маленькое сердце. Стоит девочка — не дышит. Держит в онемевшей руке искрящийся серебром фонарик и боится пошевелиться.

Ровно кто неожиданно подтолкнул вперёд: осмелев, медленно сошла Анюша с крыльца. И осторожно ступила босыми ногами на свежий снег, совсем-совсем не ощущая стылого обжигающего холода. Идёт шаг за шагом — и чувствует, что и не снег то вовсе, а стелется по низу мягким ковром белый легкий пух-перо.

И снова сама собой настезь открылась перед ней дощатая дверь. Вошла в подкрышу, где тучными ребристыми боками громоздились рядами поленницы дров. Тёмно. Глухо. Тесно. Однако ослепительный живой луч, исходящий от небесного светильничка, высветил в темноте стёжку-дорожку прямо к новой дверце, обитой старым ватным одеялом. Не успела девочка притронуться к дверной ручке, как та, оторвавшись, упала на пол. Она обеими руками (голубая звёздочка, выпорхнув из рук, зависла в воздухе) ухватилась цепко за ватные края и с силой дёрнула дверцу на себя, и дверца легко распахнулась. Анюша, переступив порожек, подхватила плывущий по воздуху фонарик и осветила тесную теплушку изнутри.

У стены лежала Милька и с осмысленным удивлением в больших волооких глазах смотрела на вошедшую. Рядом с козой, тычась мокрой мордочкой в серое вымя, лежал козлёнок.

– Бяшка!.. бяшка!.. бяшечка!.. – восторженно позвала девочка и потянулась погладить его – вдруг как и козлёнок, и коза Милька, ровно их и вовсе не было, пропали с глаз, а следом и небесный светлячок сорвался с рук и, взлетев к потолку, исчез.

В теплушке меж тем темно не стало. Даже наоборот. Вдруг, полыхнув жарким пламенем, запылал нестерпимо яркий свет и ёмко осветил всё вокруг.

Анюша оглянулась на свет и увидела, что в углу, где закут, где тесные ясли, в белых блистающих пеленах лежит на сене необыкновенной красоты Ребёночек... маленький-маленький Младенчик...

От скорой моментальной мысли о том, что Ему же очень-очень холодно, ознобом обожгло сердце и частой дробью отозвалось в детской груди.

Видит: склонилась над Ребёночком Его Мамочка, лицо которой светло светится и сияет неземной любовью. Бережно берет Она Младенчика и нежно-нежно прижимает к Своей груди...

И упали разом, рухнули бревенчатые стены. Пологом раздвинулся низкий потолок. Исчезла и сама теплушка – тесное козье жилище. Нет уже и никого, и ничего.

Одна-одинёшенька стоит девочка посреди

огромного мира. Зияют над ней выси-дали глубокие. Очаровывают тайной. Притягивают взор.

Светятся в небесах мириады малых и больших звёзд: светом-серебром переливаются, искрятся. Насквозь пронизано всё вокруг ощущением незримого Благодатного света.

И струится-струится с божественных высот, где иконой в полнеба сияет Светозарный Лик Богородицы с Младенцем на руках, ангелоподобное пение, которым наполнены небеса.

Звучит стекающее к земле радостное, ликующее пение, а благодатная память детской души, вычленив из многоголосого торжественного хора один-единственный густой тембр, поспешила подсказать, кому он принадлежит.

Обомлело сердце. Затаилось немо в ожидании. И вот уже отчетливо рядом с Анюшей зазвучал в ночи, где звоном хрустальным, сиянием светлым ликовав мир, знакомый голос:

– Яко отроча родися нам, Сын, и дадеса нам: яко с нами Бог!

□

Анна Александровна КОЗЫРЕВА

родилась в городе Краснокамске, на Урале.

Окончила Литературный институт им. А.М. Горького

и сценарный факультет ВГИКа.

*Работала редактором, литературным консультантом,
журналистом.*

Печаталась в журналах и коллективных сборниках.

Автор книг «Тайны крещения Руси», «Выбор на века»,

«Анна Кашинская – светильник веры и любви».

*На литературном форуме кинофестиваля «Золотой витязь»
награждена премией «По дороге к храму».*

Член Союза писателей России.

Живёт в Москве.

В журнале «Север» публикуется впервые.

